

ХУЛИО
КОРТАСАР

✦
Экзамен
Дивертисмент
✦



✦ ЗАРУБЕЖНАЯ КЛАССИКА ✦

Хулио Кортасар
Экзамен. Дивертисмент
Серия «Зарубежная классика (АСТ)»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=40083685

Экзамен. Дивертисмент : [сборник] / Хулио Кортасар ; [пер. с исп. Л.

Сиянской, В. Правосудова]: АСТ; Москва; 2018

ISBN 978-5-17-112576-9

Аннотация

В предлагаемый сборник включены два ранних произведения Кортасара, «Экзамен» и «Дивертисмент», написанные им, когда он был еще в поисках своего литературного стиля. Однако и в них уже чувствуется настроение, которое сам он называл «буэнос-айресской грустью», и та неуловимая зыбкая музыка слова и ощущение интеллектуальной игры с читателем, которые впоследствии стали характерной чертой его неподражаемой прозы.

Содержание

Экзамен	5
I	6
Конец ознакомительного фрагмента.	132

Хулио Кортасар

Экзамен.

Дивертисмент. Сборник

Серия «Зарубежная классика»

Julio Cortázar

EL EXAMEN DIVERTIMENTO

Перевод с испанского *Л. Синянской* («Экзамен»), *В. Правосудова* («Дивертисмент»)

Печатается с разрешения наследников автора и литературного агентства Agencia Literaria Carmen Balcells, S.A.

© Heirs of Julio Cortázar, 1950, 1986

© Перевод. Л. Синянская, наследники, 2018

© Перевод. В. Правосудов, 2018

© Издание на русском языке AST Publishers, 2018

Экзамен

Я написал «Экзамен» в середине 40-х годов в Буэнос-Айресе, где воображению не нужно было много добавлять к исторической реальности, чтобы получить то, о чем читатель узнает из книги.

В те времена опубликовать книгу было невозможно, и ее прочли лишь некоторые мои друзья. Впоследствии, находясь уже вдали от тех мест, я узнал, что мои друзья в некоторых эпизодах книги увидели предвестие событий, ознаменовавших наши 1952 и 1953 годы. Я не ощутил счастья от того, что угадал в этой нашей некрологической лотерее. Это было слишком легко: аргентинское будущее так упорно вытекает из настоящего, что предсказывание грядущих событий не требует от предсказателя особых дарований.

Я публикую это старое повествование потому, что мне, невзирая ни на что, нравится его свободный язык, сюжет без поучений, его особая, буэнос-айресская грусть, и еще потому, что кошмар, которым оно было рождено, по сей день жив и бродит по улицам города.

Хулио Кортасар

I

«Il y a terriblement d'annees, je m'en allais chasser la gibier d'eau dans les marais de l'Ouest, – et comme il n'y avait pas alors de chemins de fer dans le pays où il me fallait voyager, je prenais la diligence»¹.

«Удачи тебе и – побольше куропаток», – подумала Клара, отходя от двери в аудиторию. Голос Чтеца уже не было слышно; изумительно изолированы залы в Заведении: стоит отойти на два шага – и сразу погружаешься в чуть жужжащую тишину галереи. Клара пошла было к лестнице, но в нерешительности остановилась у входа в коридор. Сюда отчетливо доносился голос Чтеца из секции А: современный английский роман. Но едва ли Хуан в одном из этих залов. «Беда в том, что с ним никогда ничего не известно», – подумала Клара. И все-таки решила пойти и посмотреть; яростно зажав под мышкой папку с записями, свернула налево, хотя с таким же успехом могла пойти и в противоположном направлении. «Was there a husband?» – «Yes. Husband died of anthrax». – «Anthrax?» – «Yes, there were a lot of cheap shaving brushes on the market just then...»² —

¹ «Много лет тому назад я собрался на охоту за дичью в область западных озер, и так как в том краю, куда я направлялся, не было железных дорог, я нанял дилижанс» (*франц.*).

² «У вас был муж?» – «Да. Он умер от чумы». – «От чумы?» – «Да, тогда в

Неплохо бы остановиться на секундочку и посмотреть, может, Хуан...

...some of them infected. There was a regular scandal about it». – «Convenient», – suggested Poirot³. Но его не было. Уже без четверти восемь, а Хуан сказал, что придет в половине восьмого. Такой балда. Сидит, наверное, в какой-нибудь аудитории среди паразитов, завсегдадаев Заведения, сидит и слушает не слыша. В прошлые разы они встречались внизу, у лестницы, но, может, Хуану почему-то пришлось в голову подняться этажом выше. «Какой балда. Если только он не опоздал, если только...» В прошлые разы опаздывала она. «Ну-ка, сходим на ту галерею, наверняка он застрял там».

«...Dans les mélodies nous l'avons vu, les emprunts et les échanges s'effectuent très souvent par»⁴. Нет, и там его не было. «Хороший голос у этого Чтеца», – подумала Клара, останавливаясь у двери. Аудитория была ярко освещена, и отчетливо видна табличка с названием книги: «Le Livre des Chansons, ou Introduction à la Chanson Populaire Française (Henri Davenson)⁵. Глава II. Чтец – сеньор Роберто Чавес». «Это, верно, тот, что в прошлом году читал Лабрюйера», –

продаже появилось много дешевых кисточек для бритья... (англ.).

³ ...некоторые из них были заражены. Разразился настоящий скандал на этой почве». – «Убедительно», – согласился Пуаро (англ.).

⁴ «Как мы убедились, заимствования и подмены в мелодиях случаются достаточно часто» (франц.).

⁵ «Книга песен, или Введение к французской народной песне (Анри Давансон)» (франц.).

подумала Клара. Голос легкий, без нажима, прекрасно выдерживал все пять часов чтения. Чтец сделал паузу, и тишина рассыпалась, как полная ложка тапиоки. По длительности паузы слушатели понимали, где точка, где абзац, а где подстрочное примечание. «Подстрочное примечание», – решила Клара. Чтец прочитал: «Voir là-dessus la seconde partie de la thèse de C. Brouwer “Das Volklied in Deutschland, Frankreich...”»⁶ «Хороший Чтец, из лучших. Я бы не смогла читать, я все время отвлекаюсь, а потом начинаю гнать во весь опор». Да еще нервная зевота, когда читаешь вслух; ей вспомнилось, как в пятом классе сеньорита Капелью заставляла ее читать куски из «Марианелы». Первые страницы шли хорошо, а потом напала зевота, и удушье медленно поднималось к горлу, ко рту, а сеньорита Капелью с ангельским личиком слушала в восторге, и вдруг – вынужденная пауза, чтобы подавить зевоту (ей показалось: она вот-вот зевнет и передаст свою зевоту Чтецу, бедняга, какая жалость), – и опять читаешь, пока зевота не одолеет, нет, конечно, она бы Заведению не подошла ни в коем случае. «Вон он, Хуан, – подумала Клара. – Идет спокойно, в облаках витает, как всегда».

Но это был не он, просто кто-то похожий. Клара разлилась и направилась в противоположный конец галереи, там ничего не читали, там пахло кофе, сваренным Рамиро. « Попрошу у Рамиро чашечку, чтобы злость прошла». Было

⁶ «Смотри вторую часть работы К. Брауэра “Народные песни в Германии, Франции...”» (*франц., нем.*).

неприятно, что она спутала Хуана с другим. Толстуха Эрлик сказала бы: «Поняла? Это штучки Гештальтской школы: даны три линии, и в воображении завершаешь квадрат. Дано: тело, более или менее худощавое, каштановые волосы, походка праздного портеньо, – и на́ тебе: Хуан». Гештальтской школе можно... Рамиро, Рамиро, вот бы мне сейчас чашечку твоего кофе, да только кофе – это для Чтецов и для доктора Менты. Кофе плюс чтение текстов: Заведение. А времени – без четверти восемь.

Две девушки выскочили из аудитории. На бегу перекинулись фразой и, не замечая Клары, бросились к лестнице. «Мчатся слушать очередную главу из очередной книги. Все равно, что крутить радио: танго – и сразу “Лоэнгрин” – рынок – холодильники – Элла Фитцджеральд... Заведение должно было бы запрещать подобную всеядность. Сперва хорошенько усвойте одно, дорогие слушатели, и не беритесь за Стендаля, пока не закончите “Зогойби”. Но в Заведении распоряжается доктор Мента, слуга культуры. Читайте книги – и обретете себя. Верьте печатному слову, верьте голосу Чтеца. Воспримите духовный хлеб. Эти две способны слушать и русский роман у Менты, и испанские стихи, которые так звучно читает сеньорита Родригес. Они глотают все подряд, не прожевав, а выскочив из аудитории, съедят бутерброд в здешней закускойной, чтобы не терять времени, и помчатся в кино или на концерт. Они – культурные, они – начитанные. Я в жизни навидалась педантизма, по горло сыта...» У

этих девушек бесполезно спрашивать, что они думают о происходящем в городе, в провинциях, в стране, в этом полушарии и на нашей матушке-земле. Сведения – какие душе угодно: Архимед – знаменитый математик, Лоренцо Медичи – сын Джованни, «Кот в сапогах» – восхитительная сказка Перро и так далее... Она снова оказалась на первой галерее. Некоторые двери закрыты, жужжащая тишина, голос Чтеца. «“Les Temps Modernes”, № 50, декабрь 1949. Чтец – сеньор Осман Каравацци». «Надо бы послушать чтение журналов, – подумала Клара. – Наверное, занято, темы мелькают одна за другой, как в непрерывном киносеансе: все начинается в тот момент, когда вы входите». Она почувствовала, что устала, и пошла туда, где галерея выходила во двор. Уже зажглись звезды и фонари. Клара села на холодную скамью и поискала шоколадку «Долка» с орехами. Сверху, из окна, доносился сухой и отчетливый голос. Мойяно, а может, доктор Бергман, который за три года прочитал всего Бальзака. Если только не Бустаманте... А на третьем этаже, наверное, гнусавая доктор Вольф гнусавит своего Вольфганга Гете и малышка Мэри Роббинс заливается-читает Найджела Болчина. Клара почувствовала, что от шоколада смягчилась и уже не злится на мужа; ее не разозлили и большие часы на углу, пробившие восемь. По сути, виновата она сама, что пришла сюда, в Заведение, – едва ли Хуана действительно интересовало чтение. В пору, когда вести интересные курсы или читать оригинальные лекции трудно, цель Заведения – не дать

хлебу духовному остыть. На самом же деле оно годилось на то, чтобы встретиться тут с другом и поболтать вполголо-са, одновременно осуществляя роскошную программу прак-тических занятий, составленную доктором Ментой и дека-ном Факультета. «Ну, конечно, доктор, молодость есть моло-дость, дома они ничего не учат. А мы заставляем их слушать произведения литературы в исполнении наших первокласс-ных Чтецов (у них профессорское жалованье, гребут кучу денег); слово, хочешь не хочешь, доходит, разве не так, док-тор Мента?» Доктор Мента... Если я стану повторять все их хитроумные уловки, то и сама в конце концов уверую в За-ведение. Лучше дожевать шоколадку. Что там ни говори, а Заведение не так уж плохо; под предлогом распространения мировой культуры доктор Мента устроил сюда десятки Чте-цов, и Чтецы читали, а девушки слушали (главным образом девушки, они всегда прилежные ученицы и аккуратно вы-полняют программу практических занятий), что-нибудь от всего этого да останется, но лучше, если не Найджел Болчин.

* * *

– Завтра вечером, – сказал Хуан, – решающий экзамен, испытание. Ну, конечно, пообедаем. И на концерт пойдем, разумеется. Экзамен поздно вечером, времени хватит на все.

Едва он повесил трубку, злясь, что было плохо слышно и что уже так поздно, как тут же увидел Абея: тот вошел в

бар через дверь, выходящую на улицу Карлоса Пеллигрини. Абель был в синем костюме, страшно бледный и худой и, как всегда, не смотрел ни на кого, а двигался бочком, точно краб, обходя скорее не столы, а лица.

– Абель, – прошептал Хуан, облакачиваясь на стойку. – Абелито!

Но Абель сел в углу, не видя его, а может, не желая видеть, и уставился в стену. Хуан глотнул кофе. Он заказал кофе не потому, что хотелось, а по привычке. Ему не нравилось звонить по телефону из бара, не заказав прежде чего-нибудь. Со спины Абель казался еще более худым и точно придавленным непосильной ношей. Сколько времени прошло с тех пор, как они виделись, – тогда у Абеля не было этого синего костюма. «При деньгах», – подумал Хуан. Куда естественней было бы им с Абелем поздороваться, пусть даже издали, даже не пожимая рук. Между ними никогда не было раздора, какой может быть с Абелем раздор. Он смутно припомнил соплячек, которые появлялись у них в ванной комнате, когда он, студент, поздно возвращался домой. Бедный Абелито, действительно, это чересчур – спрашивать с него... Он глотнул тепловатого и слишком сладкого кофе и любовно оглядел пакет с цветной капустой. Войдя в бар, он сразу же положил пакет на стойку около телефона, чтобы никому не пришло в голову облокотиться или опереться на него рукой. Какой-то блондин в рубашке без пиджака кричал в телефонную трубку. Хуан еще раз глянул на Абеля, сидевше-

го в другом конце кафе, заплатил и вышел, с осторожностью неся пакет с цветной капустой.

Он пошел по Кангальо, стараясь не наткнуться на спешивших прохожих. Было жарко и многолюдно. Кафе на углах ломились от посетителей. «Какого черта они сидят допоздна? – подумал Хуан. – Какие жизни, какие смерти вынашивают тут? А сам я какого черта оставил в Заведении? Подойти бы к Абелю и спросить напрямик, почему у него такое опрокинутое лицо...» У него сразу, как только увидел Абеля, мелькнуло подозрение, что Абелито... Да нет, просто Абелито никому не нравился – еще одна причина, почему Абелито попадается ему в кафе. Бедный Абель, такой одинокий и все чего-то ищет, ищет.

«Если бы он действительно искал, он бы нас давно нашел», – подумал Хуан.

Он пересек улицу Свободы, потом Талькауано. По четвергам Заведение было освещено особенно ярко. Ни одна аудитория не простаивает. В один поток вместо тысячи слушателей набивают шесть. Вот, наверное, Мента жалеет, что не заполучил своего Кэванаха. Сидит там, в своем кабинете, в темно-синем или черном костюме, просматривает счета, благожелательно принимает посетителей: мы полагаем, что следует повторить курсы Достоевского и Рикардо Гуиральдеса. Слишком много времени уходит на журналы Центральной Америки. Когда откроется фильмотека? Доктор Мента сожалеет, но 31-я аудитория на шесть недель отдается Пере-

су Гальдосу. «Нелегко руководить Заведением», – подумал Хуан. Он взбежал по лестнице, перемахивая через две ступеньки, и чуть не столкнулся с курносый Гомесом, который мчался по лестнице вниз.

– Скажи честно – рвешь когти от полиции?

– Хуже – от толстухи Маерс, – сказал курносый. – Если меня сцапает, начнет распространяться про теорию Дарвина и поведение антропоидов.

– Мамочка родная, – сказал Хуан.

– Или про свое семейство – о родственниках, о сестре, которая живет в Рамос Мехиа. Ну, пока. У тебя все в порядке?

– В порядке. А у тебя?

– У меня —

сказал курносый и мрачно удалился.

Хуан прошел через галерею во дворик, где – конечно же – находилась – разъяренная – Клара. Он подошел к ней сзади и пощекотал.

– Ненавижу, – сказала Клара, протягивая ему оставшийся кусок шоколадки.

– От тебя пахнет днем рождения. Подвинься, я сяду. Ты похожа на жертву, на подопытное животное. Доктор Мента сожалеет.

– Негодяй.

– И одариваешь меня благодатью, какой дарят родники и холмы.

– Уже двадцать минут девятого.

– Да, время бежит и утекает сквозь пальцы. *Время подобно ребенку, ведомому за руку: смотрит назад...*

Это хайку я написал два года назад, представь себе... Клара, в этом пакете – чудесный цветной кочан.

– Ешь его сам, а не хочешь – сблуй. И кроме того, говорят, не цветной кочан, а цветная капуста.

– Этот кочан – не для того, чтобы есть, – пояснил Хуан. – А для того, чтобы носить его в пакете и время от времени восхищаться им. Я полагаю, что сейчас самый момент, чтобы восхититься цветным кочаном. А потому...

– Я бы предпочла вовсе не видеть твоей капусты, – сказала Клара гордо.

– Ну, взгляни хоть одним глазком, просто для знакомства. Я отдал за него два девяносто на рынке «Дель Плата». Я не мог устоять перед его красотой, вошел в лавочку, и мне его завернули. Он прекраснее, чем фламинго, а ты знаешь, что я... Ну, посмотри...

– Замечательная капуста, я и так вижу, не разворачивай, пожалуйста.

– Он похож на глаз насекомого, увеличенный в тысячи раз, – сказал Хуан, проводя пальцем по плотной сероватой поверхности. – Подумай только, ведь это цветок, огромный цветок капусты, цветной кочан. Че, да он похож еще и на растительный мозг. О цветной кочан, какие в тебе мысли?

– Поэтому ты и опоздал?

– Да. А еще я звонил твоему отцу, он приглашает нас зав-

тра на обед; и еще я смотрел на Абеля.

– Умеешь терять время, – сказала Клара. – Абель, папа... Нет, уж лучше цветная капуста.

– И еще я надеялся, что ты простишь меня, – сказал Хуан. – Не говоря уже о том, что мы как раз успели, чтобы немного послушать Мойяно. Как он ласкает голосом! Наверное, может довести до оргазма и по телефону.

– Балда.

– Да, конечно. Но этот тип читает с таким совершенством, что абсолютно неважным становится сам текст. Мне нравятся три блондиночки, которые сидят в первом ряду и пожирают его глазами. Бедный радиокавалер. погоди, я заверну кочан как следует, а то как бы не испортить это цветочудо, этот цельнолитой цветной кочан, эту грандиозную цветосилу, этот цветосмысл.

Слева, из аудитории, находившейся в начале галереи, доносилась словно молитва, приглушенная стеклянной дверью. «Бальмеса читают, – подумала Клара, – или Хавьера де Виану».

Двое молодых людей вбежали, разъединились, чтобы прочитать объявления на дверях, обменялись сердитыми знаками. Бац! И без колебаний – на «Волчий романс», читает Галиано Сифредди. Парень в больших очках прилежно читал девиз Заведения, золотыми буквами выведенный на стене:

«L'art de la lecture doit laisser l'imagination

de l'auditeur, sinon tout à fait tibre, du moins pouvant croire à sa liberté».

*Stendhal*⁷

(Однако никто не догадывался, что фраза эта принадлежала Андре Жиду, а доктору Менте ее продали за стендалевскую.)

«Главное – сколотить набор апокрифических идей, – подумала Клара. – Заставить знаменитость произнести то, что она должна была произнести, но не произнесла: приладить ко времени, вложить в уста Цезаря то, что долженствует исходить из уст Цезаря, даже пусть это было сказано Фридрихом II или Иригойеном...»

– Пошли, – сказал Хуан, беря ее под руку. – Пока есть свободные места.

На середине лестницы они остановились, чтобы как следует разглядеть бюст Каракаллы. Кларе нравился властный рисунок его бровей, сходящихся над глазами, словно мосты. Проходя мимо, она всегда ласково дотрагивалась до него, сожалея, что вырез ноздрей придавал лицу Каракаллы подловатое выражение.

– В один прекрасный день он тебя укусит за руку. Каракалла, он такой.

– Кесари не кусаются. Тем более кесарь с таким ласковым

⁷ «Искусство чтения должно оставлять воображению слушателя если не полную свободу, то по крайней мере возможность верить в свою свободу». *Стендаль (франц.)*.

именем – Каракалла, владыка римлян.

– Ничего ласкового в его имени нет, – сказал Хуан. – Как удар хлыста.

– Ты путаешь с Калигулой.

– Нет, Калигула – звучит как название лекарственного растения. Два зернышка калигулы на стакан меда. Или вот так: небо калигулится, кто его раскалигулит? До свидания, доктор Ромеро.

– Добрый вечер, молодые люди, – сказала доктор Ромеро, изо всех сил вцепляясь в перила.

– Скорее, Хуан; Мойяно, наверное, читает уже минут двадцать.

– Это ты остановилась лобызать несчастного кесаря.

– А что такого? Каракалла того заслуживает, он добр ко мне. Теперь на него никто не смотрит, а бывало, глаз не сводили.

– А он и глазом не моргнет, – сказал Хуан. – Римляне, они такие. А доктор Ромеро стала как слон. Слон обернулся и смотрит на мой пакет. Учужал цветной кочан.

– И ты с ним пойдешь в аудиторию? – сказала Клара. – Будешь шуршать бумагой, всем мешать.

– Если бы я мог, я бы вддел кочан-цветок в петлицу. Причуда в духе Каракаллы. Правда, красивый? Таких цветных кочанов больше нет.

– Вполне сносный. Но дома у нас покупают крупнее.

– Ох уж мне этот твой дом, – сказал Хуан.

Чтец обозначил конец главы паузой. И прежде чем начать новую, позволил желающим откашляться, достать носовые платки, обменяться краткими впечатлениями. Как опытный пианист, он давал несколько секунд передышки, однако не затягивал ее, чтобы не рассеялись флюиды, эта плотная субстанция, которая склеивала его голос и сидевших в аудитории людей, его чтение и их внимание, которое не так-то легко заполучить.

И, наклонившись, потихоньку —

«Moïse prenait de l'âge,

mais aussi l'apparence. Les banquiers ses contemporains, qu'il avait dépassés à trente ans en influence, à quarante en fortune...»⁸

– Дай я положу сверток между нами, – попросил Хуан. –

Толстуха, слева от меня, того гляди, раздавит кочан.

– Давай сюда капусту, – сказала Клара и потянула на себя пакет (бумага зашуршала, Андрес Фава обернулся и скорчил им рожу).

В воцарившейся наконец тишине голос Чтеца лился негромко и без нажима. Клара вдруг вспомнила:

– А что он делал?

– Кто?

– Абелито в кафе.

⁸ «Моисей, становясь старше, выглядел все внушительнее. Банкиры, его ровесники, которых в тридцать лет он опередил по влиятельности, а в сорок по богатству...» (франц.).

– Не знаю. Наверное, искал тебя.

– А-а. Но ищет меня он там, где меня нет.

– Именно поэтому, – сказал Хуан, – и ищет.

– Замолчите, – заворчал Андрес. – Стоит вам появиться, все катится к черту. Я отвлекаюсь, понимаете? Мозги выключаются.

«Абелито, – подумала Клара, дружелюбно глядя на, пожалуй, слишком тонкую шею Андреса и безжалостно внимательно – на перманент, так портивший Стеллу, которая, конечно же, сидела рядом с Андресом. – Действительно, ищет меня там, где меня нет и где никогда не было. Бедный Абелито».

Стелла медленно засунула руку в карман Андреса. Совсем нелегко засунуть руку в карман брюк, не своих, а мужчины, сидящего рядом. Андрес с дурацким видом поглядывал на нее искоса. Самое смешное, что носовой платок был совсем в другом кармане.

– Мне щекотно.

– Дай платок, я высморкаюсь.

– Поплачем вместе, дорогая, но платка у меня нет.

– Нет, есть.

– Есть, да не про вашу честь.

– Противный.

– Сопливая.

– Просил потише, – сказал ему Хуан, – а сам поднимаешь шум из-за платка. Уважайте хоть немного культуру. Дайте

послушать.

– Вот именно, – сказал толстяк, сидевший справа от Стеллы. – Уважайте хоть немного.

– Совершенно верно, – сказал Хуан. – Именно это я и говорю: уважайте хоть немного.

– Вот именно, – сказал толстяк.

Клара слушала: «Eglantine entrain, et redonnait subitement leur rialité, pour les yeux do Moïse emu, au taupé et au Transvaal»⁹ —

и оценила умение Чтеца минимально пользоваться жестами. «Я бы на его месте всю размахивала руками, – подумала Клара, – а Хуан, читая мне заметку из “Критики”, может опрокинуть стул». Она совсем отвлеклась и уже не способна была сосредоточиться (она решила, что потом прочтет книгу сама, как собиралась прочесть столько книг, которые так и не прочитала), а потому принялась снова разглядывать спину Андреса, волосы Стеллы, ничего не выражающее лицо Чтеца. И удивилась, обнаружив, что ощупывает пальцами пакет, словно насекомое скользит по холодной морщинистой поверхности кочана. Она поднесла пальцы к носу: пахло влажными отрубями, и дождливым днем в комнате с пианино и мебелью в чехлах, и спрятанным в шкафу альбомом «Для тебя».

Хуан оставил кочан на ее попечение и, дождавшись паузы,

⁹ «Эглантин вошла и сразу же, в глазах взволнованного Моисея, вернула реальность кротовой шкурке и Трансваалю» (франц.).

подсел к Андресу слева. Теперь они могли разговаривать, не мешая толстяку, потому что толстяк занялся разговором с сеньорой, судя по внешности, пенсионного возраста, в лиловом платье.

– В один прекрасный день она всерьез исследует содержимое твоего кармана, – сказал Хуан, – и обнаружит, что у тебя мало общего с Чарлзом Морганом.

– Инспекционная проверка, че, – сказал Андрес. – Ну, что нового?

– Все по-прежнему. И вы, Стелла, хороши, как всегда.

– И вы все такой же, – сказала Стелла. – Все приятели Андреса, как один, лгуны и бесстыдники.

– Ну, просто очаровашка, – сказал Хуан Андресу. – Уверен, ты не понимаешь, какое сокровище тебе досталось.

– Не скажи, – ответил Андрес. – Я, как никто, умею ценить достоинства и очарование Стеллы. Я уже исписал несколько тетрадей хвалами в ее адрес, и когда-нибудь потомки узнают, чем для меня был этот город благодаря Стелле.

– А вы пишете, молодой человек? – спросил Хуан. – Как замечательно. У вас большое будущее.

– А вы, юноша? Не пишете? Это очень печально, поверьте.

– О, не беспокойтесь, молодой человек. Я тоже пишу. В нашей интеллигентской среде пишут все, буквально все. А до меня дошли слухи, что вы ведете что-то вроде дневника, и мне бы хотелось его как-нибудь полистать, если вы не против.

– Ты уже говорил об этом, – сказал Андрес. – Но это не дневник, а скорее ночник – пишется ночами.

– Вы слышали? – сказала Стелла. – Похоже на сирену.

– Это и была сирена, – сказала Клара. – Да такая, что пробуравит звуконепроницаемые перегородки нашего богоспа­саемого Заведения.

– Мифология кончается, едва соприкасается с грубой ре­альной действительностью, – сказал Андрес. – Лично я пред­почел бы пойти поболтать куда-нибудь, где можно, не стес­няясь, использовать свои голосовые связки. Стелла, обожа­емая, ты не рассердишься, если мы прервем твое интимное общение с литературой?

– Осталось каких-нибудь пять минут, – заняла Стелла, легко путавшая факт присутствия с пользой, которую можно было из этого факта извлечь.

– Пять минут – раз плюнуть, – сказал Андрес. – К тому же Клара не дает слушать, шуршит бумагой. Невероятная шту­ка, че, как люди преклоняются перед этой так называемой художественной литературой. Однажды вечером в лунапар­ке на боксерских рингах я видел одного, который между ра­ундами успевал прочитывать пару страничек Ясперса.

– Я не собиралась мешать тебе, шуршать бумагой, – ска­зала Клара. – Это все он, купил овощ и отдал мне на попе­чение.

– Я не хочу, чтобы его раздавили, – сказал Хуан. – И так, я сказал, перед тем как наш разговор грубо прервали, что не

имею ничего против того, чтобы ты дал мне почитать твои последние эссе. Я высокого мнения о твоих литературных опытах и, кроме того, смиренно следую предначертаниям судьбы: читаю чужие жизни и умозаключения. Именно так было с Абелем. А вот с Кларой гораздо хуже: она высказывает умозаключения устно, напрямую, как говорится, от производства к потребителю, без посредника. И самые, представь себе, интимные подробности. У мамы четыре зуба – вставные, брат – счастливый обладатель пластинок Синатры. Зачем мы ходим в Заведение? Лучшие книги не здесь.

– Без пяти девять, – сказала Стелла. – Сегодня я была невнимательна...

– Не расстраивайся, дорогая, – сказал Андрес. – Когда это чтение закончится, я поведу тебя слушать Вики Баум.

– Противный. Ты что, не понимаешь: я хочу практиковаться во французском. А отвлекаюсь я по вашей милости. Просто ужас.

Клара растроганно погладила ее по волосам. «Она притворяется идиоткой или на самом деле – идиотка? – подумала Клара. – Бедный Андрес, однако, похоже, он сам ее выбрал». Волосы у Стеллы были густые, тугой волной ложились в ладонь, мягко скользили меж пальцев. И стояли нимбом вокруг головы, сквозь который Клара увидела Чтеца: тот закрыл книгу и поднялся. Стулья затрещали и заскрипели, словно обменивались друг с дружкой впечатлениями о прочитанном. «Знания для бедных», – подумала Клара. Книжка

за книжкой, неделя за неделей. Свет мигнул два раза, погас и снова зажегся – одна из удачных выдумок доктора Менты, как очистить помещение в девять ноль-ноль.

Андрес, шедший рядом с Кларой, ощупал пакет.

– Добрый овощ, – сказал он. – А то ты больно худая.

– Боевая тревога, – сказала Клара. – Завтра решающий экзамен. А ты, Андрес, зачем сюда ходишь?

– О, по правде говоря, я вожу Стеллу практиковаться в фонетике. Мне самому все равно – ходить или не ходить. Должно быть, привычка осталась с университетских времен, и потом, здесь всегда кого-нибудь встретишь. Как мне, например, повезло сегодня.

– И правда, в последнее время мы так редко видимся, – сказала Клара. – Дурацкая жизнь.

– Это плеоназм. Но в Заведении довольно занятно, к тому же Стелла воображает, что нам обоим это на пользу. Мне лично больше всего нравятся сэндвичи из здешнего буфета, особенно с паштетом.

Клара искоса поглядела на него. Привычный, необыкновенный, шустрый таракан-очкарик. А он вдруг довольно рассмеялся.

– Бедняжка, значит, тебе предстоят испытания. Так что же ты тут теряешь время?

– Так лучше, мы уже не можем заниматься, – сказал Хуан. – Накануне решающего боя тренировки должны быть всегда щадящие. Клара сдаст, я уверен. А я – не знаю. Ино-

гда такое спрашивают...

– Действительно, – сказала Стелла. – Это как на распродаже шампуня, я начинаю грызть ногти – нервы не выдерживают...

(Стелла —

«Сеньорита, этот – по пятьдесят песо.

Берете?»

«Я...»

«Очень миленький, сеньорита. Мне нравятся отважные девушки. Ну-ка, сеньорита. Кто открыл закон плавания тел?»»)

– Надо прибегнуть к трюку, – сказал Андрес. – На глупый вопрос – глупый ответ. И тройка за столом призадумается – дурачишь ты их или перемудрил? А время идет, им скучно, и в конце концов они тебе ставят зачет.

– Не все так просто, – сказал Хуан. – Последний, решающий экзамен – это не хвост собачий. Особенно для меня: я расплачиваюсь за грехи самообразования, довольно беспорядочного самообразования. Потому что только дурак может поверить, будто в благословенных аргентинских аудиториях можно чему-то научиться.

– Клара, наверное, знает материал, – сказала Стелла. – Я уверена, она много занималась.

– По всей программе, – сказала Клара со вздохом. – Но это как колодец: сколько ни смотри в него, видишь только свое лицо, неумытое.

– Жутко боится, – объяснил Хуан. – Но она сдаст. Че, а куда ты сейчас собираешься?

– Да так, скоротаем вечерок со Стеллой, выпьем вермута.

– И мы с вами.

– Идет.

– И поговорим о черных масках, – сказала Клара.

– И об Антонио Берни, – сказала Стелла, обожавшая Антонио Берни.

Андрес с Хуаном немного отстали. А девушки, под руку, смешались с толпой, выходявшей из аудиторий. Откуда-то доносился голос Лоренсо Уоренса, спешившего дочитать главу. Довольно много народу на цыпочках, со смущенным видом, выходило из аудитории.

– Бедный автор! – сказал Андрес. – Смотри, рвут когти, не дождавшись, пока Уоренс кончит.

– Чего ты хочешь, старик, он же читает «Новую Элоизу», – сказал Хуан.

– Понимаю, но можешь ты мне объяснить это нестерпимое желание выскочить наружу? Как в кинотеатре: полчаса стоят в очереди перед сеансом, а потом у них нет времени досидеть до конца... Я полагаю, это бессознательное выражение нестерпимого желания. Во всем мире, наверное, одинаково. Знаешь, сейчас появились доморощенные социологи: норовят объявить специфически аргентинскими формами поведения просто-напросто специфические формы. Сколько чепухи говорится о нашем аргентинском обществе, о на-

шем так называемом эскапизме!

– Но ведь это правда, у нас люди никогда не знают покоя, все им чего-то надо, – сказал Хуан. – Беда в том, что причина их нетерпения так же существенна, как при заварке мате (ну-ка, посмотри, не закипела ли вода, скорее, скорее, наверняка уже закипела. Господи Боже мой, ну что же это такое, ни на минуту нельзя отвернуться...).

– Мате – вещь серьезная, – сказал Андрес.

– А то еще боятся опоздать на поезд, а поезда ходят каждые десять минут. Знаешь, один раз я купил абонемент на цикл квартетов. Рядом со мной сидела сеньора, которая всегда уходила перед последним квартетом. На третьем концерте мы уже стали друзьями, она мне объяснила, что если она опоздает на поезд до Ломас-де-Самора, то ей придется двадцать минут ждать на площади Конституции. И, таким образом, она меняла *assez vif et rythmé*¹⁰ Равеля на двадцать минут.

– И не такое еще меняли на чечевичную похлебку, – сказал Андрес. – Обрати внимание: в той или иной форме человек постоянно повторяет основные преступления. Сегодня – Иксион, завтра – маленький конторский Макбет. И мы еще осмеливаемся просить сертификат о хорошем поведении.

– Может, поэтому я, входя в полицейский участок, всегда испытываю страх, – сказал Хуан. – Кристально чистым досье никто похвастаться не может, че.

¹⁰ Весьма живого и ритмичного (*франц.*).

– Поди знай, – сказал Андрес, – может, беды, что на нас сваливаются, или болезни – всего-навсего наказание? Сдается мне, Фрейд об этом и писал; взять, к примеру, лысину. Не кажется ли тебе, что лысые – возможно, жертвы какой-нибудь не осознавшей себя Далилы, а страдающие артритом – просто-напросто когда-то оглянулись посмотреть на то, на что не должны были смотреть? Однажды я видел сон, будто меня приговорили к высшей мере. Но я имею в виду не смерть, наоборот. Высшей мерой наказания было жить по ту сторону сна и все время вспоминать то, что я уже забыл; наказание заключалось в том, что я все забыл.

– Вот так иногда рассуждал Абель, – сказал Хуан. – Само имя обрекало его быть тучной жертвой. Может, потому он и ходит с таким видом, потому спит и видит поменять роль и строит из себя злодея.

Андрес ничего не ответил. Они пошли вниз по Кангальо, жар дышал в лицо.

– Осторожней с пакетом, – попросил Хуан, нагоняя девушек. – Лучше дай его мне, Кларита, ты, моя дорогая, на улице – сущее бедствие.

Хуан снова поравнялся с Андресом. Стелла предложила пойти куда-нибудь, где мясо жарят на парилье, и перекусить. Они дошли до Сармьенто, собираясь сесть на 86-й трамвай, но Клара захотела позвонить домой, и вся компания остановилась на углу ждать ее. Андрес пылливо смотрел на Хуана.

– Ты – потрясающий тип. А не надо вам пойти позани-

маться?

– Нет, я лучше выпью литр вина и поболтаю с тобой. Мы стали редко встречаться, почти как близкие друзья.

– Спаси нас Бог от этого, а тебя пусть заодно спасет от плоских парадоксов. Ничего не чувствуешь в воздухе?

– Туман, золотце мое, – сказала Стелла. – В этот час всегда поднимается туман.

– Ах ты моя ненаглядная. В этот час поднимаются одни только проститутки и танцовщицы. Но туман, пожалуй, действительно есть.

– В центре всегда сыро, – зачем-то сказал Хуан.

– Одежда к телу прилипает, – сказала Стелла. – Я сегодня проснулась и подумала даже, что простыни мокрые.

– *Когда ты просыпаешься, будильник истекает кровью. Когда ты просыпаешься, на часах без двадцати двенадцать. А простыни – хоть выжимай, любовь моя, когда ты просыпаешься,* – сказал Андрес. – Я дарю эти слова для болеро тебе, любительница кандомберо, порадууй свое сердце.

Стелла, довольная, ущипнула его за ухо и звонко шлепнула.

– Когда я просыпаюсь, – сказал Хуан, – я принимаю срочные меры, чтобы опять заснуть.

– Как говорится, закрываешь глаза на суровую действительность, – сказал Андрес. – А теперь задумайся вот над чем, это важно. Ты говоришь, что тебе хочется заснуть снова, и ты стараешься заснуть. Но ты ошибаешься, если думаешь,

будто таким образом возвращаешься к самому себе и как за каменной стеной прячешься за тем, что отгораживает тебя от внешнего мира. Спать – значит всего-навсего затеряться, и, стараясь уснуть, ты стараешься убежать от всего.

– Я знаю, это короткая, легкая смерть без последствий, – сказал Хуан. – Но в том-то, старик, и величие сна. Каникулы от самого себя – не видеть ничего вокруг и самого себя не видеть. Замечательно, че.

– Может быть. Человек присасывается к себе, как пиявка, так что даже в полусне не причинит себе вреда. Я, например, всегда в четыре утра встаю пописать, поскольку привык допоздна тянуть мате. И когда я снова залезаю в постель, я замечаю, что тело само («Ищет тепленькое местечко!» – крикнула Стелла), вот именно, дорогая, ищет тепленькое местечко, ищет свой отпечаток, понимаешь, свой теплый живой след. Ноги ищут теплый уголок, человека тянет забиться в свою теплую норку... И ничего не поделаешь, старик, недаром мы считаем, что А есть А.

– Единственное, что ищет прохлады, – это голова, – сказал Хуан. – А это доказывает, что голова есть думающая часть человеческого существа. Вон Клара идет, а там, кажется, и восемьдесят шестой.

Трамвай словно повис сам на себе – так ковыляет женщина, нагруженная свертками и пакетами. Хуану (который пристроился в углу и завладел окошком благодаря непонятно

как вспыхнувшему азартному столкновению, которые всегда происходят при конфликте разнонаправленных волевых усилий и почти всегда разрешаются по воле случая, «а ты стоишь, как стояла, – думала Клара, – в то время как здоровенный оболтус радостно захватывает место»), Хуану нравилось смотреть на туман за окном и на огни, которые, будто стремительные ягуары (но как красиво, как красиво!), мелькали по запотевшему стеклу. Как всегда, стоило ему войти в трамвай, им овладевало чувство отрешенности и покоя. Он вручал себя трамваю, и тот обплывал город медленно, часть за частью, со многими поворотами, остановками и резкими рывками. Туман усиливал ощущение пассивности и помогал соскользнуть в короткую пятнадцатиминутную нирвану длиною в десять кварталов, которые настоящий портеньо никогда не пройдет пешком, если этого можно избежать. Дерево бодхи¹¹ Будды звалось 86-м. С точки зрения каббалистики, 86 составлено двумя четными цифрами и делится на $2 = 43$. И в кармане у него была как раз одна пачка сигарет, однако **КУРИТЬ ЗАПРЕЩЕНО, ПЛЕВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО**. Под деревом бодхи.

«Как мало надо человеку, – подумал он. – Можно даже без поцелуя. Совсем мало. Чашечка кофе, сваренного с минимальным священнодействием, насекомое, заснувшее на книжной странице, старый аромат духов. Да почти что

¹¹ Дерево бодхи – дерево просветления; согласно преданиям, на Будду, сидевшего под этим деревом, снизошло озарение.

ничего...» Каждый раз, намереваясь затеряться под сенью древа бодхи, он соглашался стать трамвайно-счастливым на несколько кварталов.

Многочисленное и деятельное семейство сошло на второй остановке, Стелла предприняла необходимые усилия, чтобы перекрыть подступы к освободившейся скамейке, и пропустила Клару к окошку. Обе радостно улыбались, как обычно улыбаются люди, которым удалось-таки хорошо устроиться в переполненном трамвае (тема для моралистов). Они пытались разглядеть улицу за окном, но из-за тумана видно было не много.

– Как ужасно выглядит в темноте театр «Колон», – сказала Клара, протирая запотевшее стекло.

– Уф, я уж думала, старухи никогда не сойдут, – сказала Стелла. – Я так устаю стоять в трамвае, даже если ехать всего десять кварталов. Представляешь, Андресу пять лет назад предложили «моррис» за четыре тысячи песо, а я ему сказала, лучше подождать, что скоро, наверное, будут продавать американские автомобили, и дешевле.

– Одним словом, сунула нос куда не следует, дорогая. В этой стране идеи не реализуются.

– Но все так говорили.

– Тем более. Но Андресу его «моррис» наверняка уже осточертел бы, или еще хуже: вас обоих переехал бы грузовик с прицепом. Представляю его в машине: бросит руль и

станет рисовать что-нибудь на ветровом стекле.

– Вот и его мать то же самое говорит. Но сначала все-таки всегда надо попробовать.

Клара искоса глянула на нее. Вот она какая, Стелла, трамвайный философ: маршрут задан раз и навсегда. А что, если у Андреса способности Дюпена: все мысли Стеллы ему известны наперед. Это показалось Кларе занятным. «Какая экономия», – подумала она. Стелла ей нравилась: удобна для ношения. Самое неприятное в таких, как она, то, что они полагают, будто могут взять инициативу в свои руки, но Стелла всегда отставала, как любимое отечество со своим мате. «И все равно, Андрес, какой плачевный выход. Терпеть такую пошлячку, бедняга». Выбор Андреса возмущал Клару, хотя Стелле в конце концов всегда удавалось ее растрогать.

– Как темно в центре, – сказала Стелла. – Не нравится он мне такой темный. Смотри-ка, вот витрина, как странно она освещена.

– Красивая шерсть, – заинтересовалась Клара. – А что за звонок? Почему трамвай звякнул?

– Наверное, машина выезжает из тоннеля.

– Нет, скорее трамвайные уборщики.

Стелла не поверила и решила поднять окно. Ворвался горячий воздух, насыщенный туманом так, что все сразу стало влажным. Андрес, стоявший в проходе рядом с Хуаном, резко свистнул, чтобы они опустили окно.

– Правильно, а то я простужусь, а он ужасно злится, когда

я простуживаюсь, – сказала Стелла. – Да, кажется, это уборщики. Правда же, шерсть была красивая? Ты, наверное, любишь вязать?

– Люблю, когда зачитаюсь до умопомрачения или перед экзаменом.

– Очень успокаивает. Как горький мате, я терпеть не могу горького мате. Андрес говорит, что он очень успокаивает. Поглядела бы ты, как он ночь напролет тянет мате.

– Он пишет по ночам?

– Да, по ночам. Наденет старую фуфайку, велит мне не шуметь и сидит, тянет мате.

В переднюю дверцу вагона заглянул уборщик (Клара удивилась, когда дверь распахнулась словно сама собой. Так бывало, если вагоновожатый хотел сказать что-то полицейскому; она разочарованно удивилась, обнаружив, что на сей раз это всего лишь трамвайный уборщик в огромных башмаках, похожий на крота. «Как в театре, – пришло ей вдруг в голову. – Занавес поднимается – и на тебе! Ты ждал Эдвидж Фейер, а выходит муниципальный инспектор») и устало оглядел толпившихся в проходе людей. Когда же он проворно закрыл дверь, —

но сперва внес в вагон свое тело и метлу, оставив дверь за спиной,

потом завел руки за спину, ловким движением иллюзиониста (метла и мусорное ведро с ручкой уперлись в створки двери) захлопнул дверь с сухим и резким щелчком, точно

лязгнул зубами тощий пес —

«Как, должно быть, они скучно живут», — подумал Андрес, глядя на бледное лицо уборщика. Он знал, что скука (в его понимании) есть наказание за совершенства, и с душевной грустью предполагал, что уборщики тоже могут страдать от скуки. Он увидел (ибо был высок), что второй уборщик начал убирать вагон с другой площадки. Он уцепился за ручку, когда трамвай круто повернул у площади Двадцать Пятого Мая, и, как всегда на этом месте, хвостовой вагон трянуло. Хуан достал книгу и принялся читать. «Замечательно, пишешь-пишешь, а потом тебя читают в трамвае», — Андрес чуть было не вырвал у него книгу, вот так: тихонько-тихонько просунуть руку за спину сеньоры, нагруженной свертками, и выхватить книгу, прежде чем тот поймет, в чем дело. «Вот так-то, — подумал он, уже меньше раздражаясь. — Докатились, одним словом, трамвай у нас стал читальным залом. В таком случае надо подумать о здоровье и писать книги, принимая во внимание обстоятельства, в которых они будут читаться. Одни главы для чтения за кофе, другие — для трамвая, а какие-то — для субботы и воскресенья, когда мы, умытые и надушенные, садимся в удобное кресло, готовые за доброй трубкой воспринять порцию культуры. Так будет лучше». Он увидел, как Стелла с Кларой поднялись, давая уборщику возможность почистить их сиденья. Высокий уборщик занимался скамейкой Клары и Стеллы, а скупающий орудовал щеткой под ногами у Андреса: тот сперва

поднял одну ногу, потом – другую и смотрел, как стоявший впритык к нему парень проделал то же самое; а сеньора в затемненных очках со страхом следила за движениями щетки и все теснее прижималась к скамейке, пока чуть ли не въехала задом в лицо сеньору пенсионного вида, который, насколько это было возможно, откинулся на спинку скамейки, заслоняясь «Пятым доводом», и все-таки ему не удалось превратить книгу в ширму и как следует отгородиться от сеньоры в очках.

– Как будто не видят, я уже два раза сказал, чтобы встали, а они хоть бы что, – проворчал уборщик. И Хуан, немного смущенный, захлопнул книгу и встал со скамейки, пробормотав что-то, чего Андрес не разобрал. Сеньора с пакетами вздыхала где-то у самой груди Андреса, а за ней стоял Хуан, заложивший пальцем недочитанную страницу, и злился, что ему помешали.

– Видишь, бедный автор совсем не рассчитывал на подобные забавы, – сказал Андрес. – Слово «забава» в данном случае имеет особый смысл. Смотри: автор трудится над стилем, закладывает паузу, модулирует, скандирует, располагает слова, выстраивает период, а потом ты читаешь, и вдруг в середине фразы неожиданно-негаданно влезает уборщик.

– Сукин сын, – сказал Хуан, не щадя слуха сеньоры в очках.

Андрес подмигнул девушкам, снова устроившимся на скамейке. В центре вагона началась сумятица: уборщики

продвигались к центру с обеих сторон, и пассажиры, стараясь пропустить их, из последних сил жались друг к другу. Но совсем худо стало, когда —

(Хуан уже сел обратно на свое место, но зачем, насмешливо подумал Андрес, если через три квартала все равно выходить) —

один из уборщиков нагнулся, нажав прежде ногою на педаль, чтобы ведро открылось, нагнулся, чтобы собрать с пола пух, использованные трамвайные билеты, газеты, пуговицы, обрывки, засохшую на плевках пыль, волосы, ореховую скорлупу, спичечные коробки, почтовые квитанции,

он нагнулся, хотя и не хотел нагибаться (потому что совок был с длинной ручкой, но уж слишком много набилось в трамвай народу, а трамвай освещен плохо, и на полу ничего не видно),

и старался разглядеть, что там, на полу, и толкал пассажиров кепкой, а кепкой можно толкнуть довольно здорово, если в кепке — голова, добросовестно относящаяся к своим обязанностям, а на противоположном конце горизонтали столь же энергично двигался зад уборщика, согнувшегося под прямым углом к полу. И поскольку уборщики вот-вот должны были сойтись в центре вагона («К счастью, — подумал Андрес, — я вне поля их деятельности») и все время наклонялись, подбирая мусор с пола, пространства у пассажиров оставалось все меньше, и они все теснее прижимались друг к другу, так что пуговицы цеплялись друг за дружку с

сухим треском, и люди шепотом, стараясь скрыть смущение, обменивались шутками. «Как бы в этой сутолоке, – подумал Хуан, – не раздавили мой кочан». Он не хотел оглядываться на Клару, боясь, что она догадывается о его беспокойстве. «Теперь уж я сам его понесу».

– Смотри, что стало с площадью Двадцать Пятого Мая, – сказал ему Андрес многозначительно. – Помнишь, какая она была, эта площадь?

– Конечно, помню, – сказал Хуан. – Ничего не оставили. Спасибо еще, молочные бары не тронули. А придет кому-нибудь в голову, что молоко неприлично, прикроют и эти.

– А оно неприлично, – сказал Андрес. – Не в такой, конечно, мере, как гелиотропы, те вообще – фаллические символы. Девочки, на углу выходим.

– Выходим, – сказала Клара. Ей трудно было продвигаться из-за Стеллы. «Просит дорогу тоном монахини-послушницы, чудом оказавшейся на арене для боя быков, – подумала Клара. – В трамвае, если не умеешь работать локтями, учишься управлять людьми голосом». Через голову уборщика она передала Хуану пакет с капустой и вышла из трамвая; Стелла – за ней. Когда Хуан был уже на подножке, трамвай рванул и стал заворачивать на улицу Коррьентес. Коррьентес была залита светом; в двух шагах от уничтоженного бедного китайского квартала весело начинался добропорядочный город для добропорядочных семейств: красный колпак почтового ящика, маленькое кафе, мягкий тобогган, кото-

рый унесет тебя к луна-парку и принесет столько захватывающих дух впечатлений, сколько монет ты отвалишь за это удовольствие.

Репортер слушал «London again»¹² и вспоминал множество милых его сердцу вещей – от лавандового лосьона до мелодий Эрика Коутса. Аппарат «вюрлитцер», предмет эсхатологический, таил в себе угрозу самб и матчишей, и потому репортер предпочитал сидеть рядом с ним в ущерб собственным барабанным перепонкам и бросать в щель новые и новые монетки, чтобы выдавал только «London again» и еще простенькое танго —

*Какою, Милонгита, ты была в расцвете,
Фартовее девчонки я не встречал на свете —*

с проигрышами в левой руке, а из-под вздохов мехов – отрывистые звуки рояля, четкий ритм; репортер взмахом пальца ответил на приветствие, посланное ему издали Андресом Фавой, который появился с подружкой и еще одной парой (кажется, это были Хуан с Кларой), а сам продолжал размышлять в духе Хуана Д'Арьенсо над требованиями пианолы, канарейки, соловья...

А ИМПЕРАТОР УМИРАЛ (по вине соловья, вот именно, сеньор).

¹² «Снова Лондон» (англ.).

– Разменяйте мне песо на монетки по двадцать, – сказал репортер. – Если этот негр с грязными глазами захватит «вюрлитцер», готов поклясться, он поставит чамамес¹³. Их три в репертуаре да еще чакареры. «Ненавижу фольклор, – заверил он себя. – Фольклор мне нравится только чужой, другими словами, свободный и для меня необязательный, не тот, что навязывает мне зов крови. Вообще зов крови тошнотворен. Сейчас опрокинут по рюмашке – и пойдут разговоры. Если бы один Андрес, а то еще с женой, а она чудовищна. Что же поставить?» Список был длинный, в две колонки. Он выбрал пластинку «One O'clock Jump»¹⁴. И тут подошли Хуан с Кларой.

Андрес со Стеллой у стойки хрустели жареным картофелем и смотрели, как репортер здоровался, а потом придвигал стулья. Клара с интересом разглядывала внутренности «вюрлитцера».

«Молох из кондитерской, – подумал Андрес. – Монетки приносятся в жертву толстопузому горластому божку. Ваал, Мелькарт, распутные животные, выловленные в музыке. О репортер, ты достоин сожаления». Он очень любил репортера, своего товарища по ночным зрелищам боксерских состязаний, поздним посиделкам в кафе, по диалогам о любви, о газетных статьях о грибках, —

¹³ Чамамес, чакарера – музыкальный фольклор Ла-Платы.

¹⁴ «Одночасовой прыжок» (англ.).

репортер спокойный парень, у него маленькая квартир-ка за четыреста песо на Алсине и повадки настоящего порте-ньо: не лезь ко мне, и плевать я на все хотел; повадки чело-века, живущего в этой стране, а она —

*несчастливая страна, тут все в порядке
до выборов, а дальше — как сказать*

(это танго они, бывало, насвистывали вместе, когда встре-чались раньше, еще до Стеллы, до этого его падения в сего-дняшнюю жизнь — «Осторожно, — сказал себе Андрес, — не надо поддаваться словам. В сегодня падают все и всегда»).

— Пошли, старуха, поболтаем с репортером.

— Иди, я доем картошку: ужасно вкусная, — сказала Стел-ла.

Когда он добрался до столика, все трое уже удобно устро-ились, а «вюрлитцер» опасно молчал.

— Вы поглядите на этого парня, — сказал репортер, сжимая ему руку словно гаечным ключом. — Че, и тебе не стыдно смотреть мне в глаза? Пропаций ты человек, чтоб пиджак у тебя был весь в карманах, а в каждом кармане — отсыревшая сигарета, фальшивая ассигнация и шариковая ручка —

— кошмар нашего времени.

— От такого и слышу, — сказал Андрес. Они довольно пе-реглянулись. А Клара с Хуаном развлекались, глядя на них.

— Когда вы ужинаете? — спросил репортер.

– Сейчас. Но сперва заморим червячка. Сегодня особый вечер, знаешь, завтра ожидаются большие события.

– Большие события всегда ожидаются, но никогда не происходят, – сказал репортер, который умел быть blasé¹⁵ в нужный момент.

– Нет, происходят, – сказал Андрес. – Просто они происходят не с тобой. Завтра Клара с Хуаном сдают решающий экзамен. В девять вечера.

– Не вижу в этом ничего значительного, – сказала Клара.

– Разумеется, поскольку это касается тебя. А для нас с репортером это значительное событие. Не каждый имеет друзей, которые стоят на пороге события, тем более такого, как решающий экзамен. Надо этот факт несколько приподнять и придать ему исторический смысл. Представь себе заголовок: «КАТАСТРОФА В ЕГИПТЕ: СГОРЕЛИ ДВАДЦАТЬ ЖЕНЩИН». Люди читают и ужасаются: чудовищная катастрофа. А в то же самое время в других местах в мире умирают десять тысяч женщин, и мир – ничего, живет себе спокойно. Спроси репортера, он знает, как это делается.

Но Хуан вместо этого приоткрыл пакет и показал репортеру краешек кочана. Клара отняла у него пакет и положила на «вюрлитцер», но бармен издали стал делать ей грозные знаки, и Клара переложила пакет себе на колени. «На что идешь ради этого балды. А он тебе и аспирина не принесет, не допросишься». Она погладила пакет – огромное лицо, сплошь

¹⁵ Здесь: утонченным (франц.).

из глаз, завернутое в бумагу. Андрес с репортером все говорили и говорили, довольные, что наконец-то встретились.

– Я сегодня вышел в восемь, – сказал репортер. – Че, а почему бы нам действительно не поужинать? Вышел в восемь и зашел сюда послушать «London again». Просто ужас, как мне нравится эта вещь.

– Ужасное дерьмо, – сказал Андрес.

– Может быть, очень может быть. Но, понимаешь, у каждого из нас есть уголок, где гнездится тоска. Моя тоска понимает по-английски, только и всего. Так вот, я поставил «London again» и собирался поставить еще раз, но тут пришли вы. Че, давайте поедим чего-нибудь.

– Стелла хотела жареного мяса.

– Мы все хотим жареного мяса. И поговорить всласть.

– Про Абея, – невпопад сказала Стелла.

– Ты – потрясающая, – сказал Хуан без всякой радости. – Дадим тебе двойную порцию мяса. По-моему, прекрасно, что репортер пойдет с нами. Нарушит в нашей компании четное число – оно всегда выглядит глупо – и украсит наше общество.

– А глядишь, и заплатит за ужин, – сказал Андрес, подталакивая локтем репортера, который ласково глядел на него. – Наш репортер только что вернулся из Европы, и речи его источают мудрость. Приготовьтесь же вкусить этой мудрости, запивая семильоном. А кроме того, репортер читает мои литературные опыты или, во всяком случае, читал их в пору

нашей доброй дружбы.

– Я бы, – сказал репортер, – и дальше читал их с дорогой душой, но ведь ты же из тех, кто пропадает вдруг на полгода и носу не кажет. Вы его за решеткой держите, дорогая Стелла?

– Ох, если бы могла, – сказала Стелла. – А вот пишет он в самом деле много и все мате пьет. Я уже сказала ему: так заниматься – до добра не доведет.

– Видишь, – сказал Андрес. – Нарисовала идеальный портрет анахорета с мате, как полагается.

– А почему другие не знают того, что ты пишешь? – сказал Хуан. – У нас человек, как правило, пишет для друзей: издатели слишком заняты листьями в бурю и семью кругами.

– Знаешь, это такое дело: сидишь сочиняешь, потом надо просмотреть все как следует, перепечатать на машинке... А, собственно, какая необходимость людям читать? – стал злиться Андрес. – Да и писать – тоже, разве это хлеб насущный? Да, я веду дневник, а скорее, ночник. Что из этого? Сделай одолжение, че, почитай, если интересно...

– Ты прекрасно знаешь, что друзьям читают совсем по другой причине, – сказала Клара.

– Согласен, но когда люди сбегаются на чтение как на дорожное происшествие, —

– знаешь, старик, это начинает походить на похороны... толкают речи, льют слова...

– Мы обожаем сборища, – сказала Клара. – Что такое, по-

твоему, Буэнос-Айрес? В нашем кругу роли распределены превосходно: ты пишешь, а пятеро или шестеро твоих друзей и близких – читают; на следующей неделе порядок меняется: Хуан пишет рассказ, а ты, я – читаем его... Замечательная система, согласись. Мне смешно, когда я думаю, что в Заведении, наверное, сотни таких кружков, просто они не знают друг о друге. Уйма народу пишет для того, чтобы их прочитали три, восемь, в лучшем случае двадцать человек.

– От твоих объяснений меня чуть не вывернуло, – сказал Андрес.

– Только не перед ужином, че, – встревожился репортер. – Пошли скорей, зверски хочется есть.

– Туман стал гуще, – сказала Клара на улице, нюхая воздух.

– Это не туман, это – дым, – сказала Стелла.

Репортер ответил неопределенным жестом.

– Ну?..

– Непонятно, – сказал репортер. – Сегодня в редакции как раз говорили об этом. Точно никто не знает. Исследуют.

Хуан пошел вперед, разговаривая со Стеллой и репортером, а Андрес, дав им уйти немного, взял под руку Клару. Та позволила и шла, чуть прикрыв глаза.

– Боишься экзамена? – спросил Андрес.

– Нет, пожалуй, это не страх, а любопытство. Обычно в жизни ты знаешь, что и как должно произойти. И в деталях

можешь представить, что будет делать с тобой зубной врач, что ты станешь есть в гостях у тетки... А тут – нет, тут – как колодец, полная загадка.

– Да, тебя ждут скверные полчаса, – сказал Андрес. – Может, пойти завтра вместе с вами? Не знаю, хотите вы видеть там знакомых или нет. Иногда их присутствие ни к чему, например, при прощании с покойником, который был тебе близок.

– Я лично – за. Что бы ни случилось, по крайней мере, по окончании выпьем вместе. Ты чувствуешь: жарко – и голова кружится? – сказала Клара смущенно и крепче ухватила за руку Андреса. – Какая странная сегодня улица, да еще туман.

– Липкий.

– Сегодня у меня нет сил переносить жару, – сказала Клара. – Хуан смеется, когда я говорю: мне достаточно подумать о прохладе, и я ее ощущаю. Как будто я всегда ношу в себе эдакую климатическую ширмочку, но сегодня она у меня отказала. Наверное, нервы сдали, – добавила она смиренно.

– А Хуан спокоен?

– Говорит, что спокоен, но погляди, как он размахивает руками. И все эти ночи напролет писал как сумасшедший. Не допишет и начинает писать стихи. Он в ярости от того, что творится вокруг, у него душа болит за Буэнос-Айрес, за меня, он плохо ест, зевает.

– Полная картина.

– Ты же знаешь, с ним все так непросто, – сказала Клара. –

Для него даже суп сварить непросто. Сделаешь из тапиоки, а ему, оказывается, хотелось из вермишели. Бывает, я целыми днями его не трогаю.

– Но зато ночью полный порядок... – сказал Андрес, отчетливо выговаривая слова.

– О, ночью проще всего. Проблемы Хуана начинаются в тот момент, когда мы просыпаемся. Попроси его почитать стихи, которые он написал на этой неделе, и сам увидишь. Я стараюсь вытащить его на улицу погулять, тащу сюда; я считаю, ему это нужно. А вчера вечером он, засыпая, сказал мне: «Дом проваливается». И замолчал, но я знаю, он не спал. Зачем я тебе все это рассказываю?..

– Ни за чем, просто надо рассказать – и все. Куда они нас ведут? А, в ресторан напротив стадиона. Стихи, стихи, все кончается ими.

– Все начинается, – умно вставила Клара.

– Я не это имел в виду. Заметь, сегодня, да и каждый раз, когда встречаемся, мы только и говорим о том, что пишем и что читаем.

– И очень хорошо.

– Ты думаешь? Всерьез считаешь, что у нас есть право?

– Объясни, что ты имеешь в виду, – сказала Клара. – Я не понимаю.

– Объяснение будет более литературным, чем вопрос, – печально ответил Андрес. – По правде говоря, я не очень хорошо знаю, что хочу спросить. Вопрос рожден злостью,

злостью интеллигента на своих коллег и на самого себя. И страшным подозрением, что все это – паразитизм, никому не нужное занятие.

– Ты говоришь как раскаявшийся гаучо, – пошутила Клара.

– Постарайся меня понять. Я не отрицаю основания и права быть интеллигентом. Стихи у Хуана – очень хорошие, мой дневник и мои статьи – тоже очень хорошие. Но, Клара, заметь, ведь, по сути дела, и он, и я – все мы слишком чванимся тем, что делаем. Иногда тем, что делаем, а бывает, и самим фактом делания. Я пишу. Хочется парировать коротким и высокомерным английским «so what»¹⁶.

– Но так нельзя ставить вопрос, – сказала Клара. – Важно знать, что пишется. И только после этого судить. Вот Валери мог сказать: Я *пишу*. А тебе приходилось слышать от него такое?

– Нет, – мирно ответил Андрес. – Я думаю, ты права. Однако сколько разговоров вокруг, обмениваются друг с другом страничками, а за столиками в кафе только и слышно: книги, книги, книги, премьеры, картинные галереи... Вот тут-то и начинается подмена, предательство.

– Тебе остается лишь добавить: «предательство реальной действительности, жизни, действия» – и ты готов для любой карьеры.

– Ну, разумеется, слова, слова, слова... Но я хотел сказать

¹⁶ «Ну и что» (англ.).

другое. Меня беспокоит *качество* нашего интеллектуализма. Он отдает сыростью, как сегодняшний воздух.

– Но ты же пишешь дневник, – сказала Клара, защищая Хуана.

– И от дневника тоже несет туманом. Дело в том, что мы глотаем этот грязный, волглый воздух и запечатлеваем его на бумаге. Мой дневник похож на липучку для мух, мерзкая патока, в которой застряли и подышают массы крошечных живых существ.

– Это уже кое-что, да будет тебе известно, – сказала Клара, которой в детстве нравилось играть в медсестру.

Андрес пожал плечами, крепче взял ее под руку и испытал смутное успокоение. Похоже, в этой ночи найти утешение было нетрудно.

– Я не согласен, – сказал репортер. – Да, Стелла, я бы съел gras-double¹⁷ и вам советую то же самое. Здесь подают замечательное энтомологическое ассорти, потрясающую вкуснятину.

– Gras-double, – сказал Андрес. – А мне – ветчину. Итак, ты не согласен.

– Не согласен. Я считаю: нас не много и мы не много можем; интеллигенция и разум сами выбирают себе зоны на земном шаре, и Аргентина в эти зоны не попала.

– Чисто профессиональное искажение зрения, – сказал

¹⁷ Рубец (франц.).

Хуан. – Поскольку ты принадлежишь к тем, кого мой тесть называет людьми слов, ты забываешь о людях цифр. У нас разум и интеллигенция сосредоточились в точных науках. Мы целыми днями спорим, отказывая аргентинцам в творческих возможностях, не замечая, что наша область – лишь одна из многих и что есть другие люди, которые тоже работают и делают свое дело. Хороший биолог, наверное, расхохотался бы от души, услышав наше попискивание. Потому что мы даже не кричим, а пищим, как мыши. Передай мне половинку грейпфрута.

– Дорогой мой, – сказал репортер, – ни тебя, ни меня нет в тех, других, областях, и мы с тобой не знакомы с биологией, чтобы рассудить, действительно ли в ней все обстоит так хорошо. Однако то, что доступно моему зрению, не представляется мне вещами из другого мира. И даже делая скидку на то, о чем ты сказал, я продолжаю утверждать, что Аргентина – страна созерцателей, страна праздных зевак, которые, обладая короткой памятью, всегда готовы верить тому, что видят их глаза, и доверяться словам, которые слышат. Пятьдесят тысяч человек, глазеющих на курбеты Лабруны, – это и есть Аргентина. А заодно можно представить себе пропорцию между бесполезными людьми и творческими. Ты мне скажешь, что у нас есть замечательные поэты, и будешь прав. Я уже говорил, что поэзия – вовсе не достоинство человека, а фатальное свойство, которым он страдает. У нас уйма людей, обуреваемых поэзией, а я тебя прошу, пересчитай, сколько

у нас активных творцов, другими словами, интеллектуалов, одаренных умом.

– Что ты заладил? – сказал Хуан. – И почему вдруг такое значение придаешь уму? Что такое ум? Аргентинец или, скажем, портеньо, которого я знаю и с которым живу бок о бок, всегда был умен. Творчество рождается из нравственности, а не из ума.

– Ой, – сказала Клара, – но одно о нас можно сказать наверняка: мы – вялый народ.

– Вот именно, вялый, без напора. Что характерно для портеньо: у него, как правило, блестящие идеи, но они совершенно оторваны от жизни, они – вне контекста, возникают ни на чем, и применения им нет. А более упорядоченное мышление рождает идеи, которые влекут за собой другие идеи, и в результате складывается целостная картина. Прости меня за такую терминологию, но, по-моему, этот образ наиболее точен. Словом, нам не хватает системы (назовем эту систему свободой или системой во имя свободы), и этот нравственный недостаток серьезнее, чем какой-либо другой. Мы растрачиваемся на бумажных змеев, а какой-нибудь профессоршишка из Лиона или Бирмингема за несколько недель методической работы придумал бы способ, как уничтожить себя самого и всех остальных.

– Но, по сути, мы не так уж отличаемся от других, – сказал репортер. – Когда я говорил об уме, я главным образом имел в виду плоды разума, а не пустопорожние проявления. А ес-

ли взглянуть на вещи трезво, то возникает проблема этого, как его, status¹⁸. Черт подери, какими понятиями я орудую!

– Вот бы опубликовать все это в дневнике, а? – сказала Стелла, с удовольствием предвкушая флан со сливками, который собиралась съесть на десерт.

Андрес слушал и смотрел на Клару. И почему-то вдруг вспомнил Малапарте: «Всемирно известно, как эгоистичны мертвые. В мире есть только они, остальные – не в счет. Они, эти колоссы, завистливы: они всё прощают живым, кроме одного – что те живые...» А спорят ли мертвые где-нибудь, подумалось ему, вот так же, как Хуан с репортером, и найдется ли среди них хоть один, который смотрел бы вот так, как он сейчас смотрит на Клару (а Стелла смотрит на него, чему-то радуясь). И на мгновение все это – и как они сидят вокруг стола, застеленного скатертью и уставленного едой, и как поблескивает на скатерти нож, ярко, до боли в глазах, – все это показалось ему непостижимым. Видеть вещи, знать их, но не давать им облечься в словесную форму. А эти всё говорят и говорят: Стелла, Клара, туман, ночь, ты же знаешь, у нас все живут в долг; а в дверь входят новые посетители, и дверь скрипит, и горьковато пахнет грейпфрутовым соком, они всё прощают живым, кроме одного – что те живые. Он глубоко вздохнул, чтобы отступил поднимающийся снизу ком, который вдруг начинал душить его тоской. Если бы можно...

Он не закончил мысли – не хватало слов, чтобы ее выра-

¹⁸ Статуса (лат.).

зить, она могла застрять на середине и раствориться в ничто, в этой черноте, не заполненной черным изнутри, поскольку за чернотой, казалось, не было пространства – и все смотрел на Клару, пытаясь найти облегчение в неподвижном лице Клары, внимательно следившей за разговором.

– Я тебе признаюсь, что сказать-то нам особенно нечего, – заметил Хуан, – потому что на деле мы проживаем жизнь, стараясь никак не ввязываться в то, что называется приключением человеческой жизни. Мы – крупинки нашей земли и нашей реки, словом, элементы, у которых нет истории или чья история принадлежит другим. Мы заранее устали от того, что у нас нет ничего настоящего, что бы нас неотступно и яростно мучило. Мы, по сути дела, так свободны и так мало привязаны к прошлому или к будущему, что, похоже, невыраженность – самое исконное наше свойство. Помнишь, в тридцатые годы выпустили том в Полном собрании сочинений Иполито Иригойена? Открываешь обложку, а под ней – чистые страницы. Потому-то наши писчебумажные магазины выглядят гораздо лучше книжных.

– Человек садится за пишущую машинку и уже счастлив, – сказал репортер. – Если тебе нечего сказать, то молчи, или, что гораздо достойнее для таких людей, как мы – жертв Ардолафата, демона слова, всемогущего, – занимайся чистым творчеством, абсолютным *ex nihil*¹⁹. И живи, словно

¹⁹ Из ничего (*лат.*).

Буэнос-Айрес раскинулся на кисельных берегах молочной реки.

– Ты ошибаешься. Всякое творчество, даже самое чистое, имеет нравственную основу. А нравственной основы не бывает без человеческого достоинства. Ты можешь вести себя недостойно в личной жизни, но едва начинаешь эту мерзость воплощать в литературное произведение, излагать, как тотчас же возникает необходимость нравственных основ, если, разумеется, речь идет о творчестве, а не о выполнении заказов и поделок для Аргентинского общества писателей или для воскресных иллюстрированных изданий. Даже сукиному сыну и то требуются свои принципы и основы. Прости, я немножко тебя отвлек. Но то, что ты называешь чистым творчеством и с помощью чего, наверное, можно было бы превосходно уйти от детерминизма и построить нечто, хотя тебя и не обеспечили строительным кирпичом, у нас, по-моему, это и по сей день – отвратительный эскапизм. Например, я сам прежде всего репортер. Но пишу стихи и знаю, почему я их пишу. Это – предательство. Ибо в стихах я пишу о ярости и вдовстве потому, что мой взгляд устремлен вовнутрь меня, и я хожу по улицам и изрыгаю все темное, что есть во мне, чтобы другие поняли, какой я мерзавец.

– Ты всегда на себя наговариваешь, – огорчилась Стелла. – Давайте сначала поедим, и не трать прежде времени желчь. Мы все о себе невысокого мнения, потому что на самом деле мы – лучше многих.

– Поразительно, – сказал репортер, глядя на нее с одобрением.

Клара пожалала плечами и откусила сочное мясо. У нее были повадки Хуана, частенько она пользовалась его словечками, а в свободную минуту складывала его головоломки. Рядом на стуле лежал пакет с цветной капустой, бумага шуршала при каждом сотрясении пола. За витринным стеклом виден был туман. Временами он становился гуще, а то вдруг поднимался, и тогда открывалась улица и машины на ней. Клара была на улице, она шла по туману. И слова, звучавшие вокруг, доходили до нее словно издалека, как по телефону. Она подумала об экзамене без страха и почти без надежды. Андрес смотрел на нее и тихо улыбался. Ой, как сурово она обошлась с ним только что! Чтобы защитить Хуана, ей всегда приходилось причинять боль другим. Абель, Андрес. Все, что говорилось здесь, – чепуха, невинная студенческая болтовня, называемая греческим словом «эутрапелия».

– Слово «эутрапелия» пахнет гелиотропом, – сказала она тихонько Андресу. – Какая жалость, что нам приходится жить в такое метафизическое время, тебе не кажется? Я говорю это в чисто литературном плане.

– Я не понял тебя.

– Я – тоже, – сказала Стелла-распахнутые-глаза.

– Какие вы не тонкие. Вот слушай: они – и заметь, с каким старанием – излагают свою платформу, исходя из того,

сближает ли то, что пишется, человека с человеком, сближает ли это людей не абстрактных, а людей живых, обладающих плотью и судьбой. Ты видишь, они мыслят на французский манер. Но уверяю тебя, что Мальро – это метафизика. Потому что, помимо восьмидесяти килограммов живого веса, у каждого есть еще судьба, а судьба – это его смысл бытия, а смысл бытия приводит его к корневой сути, к точке отсчета его существования, а это и есть метафизика.

– Ай, Кларита, – сказал Хуан и грустно погладил ее по щеке.

– И наоборот: если у слова «эутрапелия» запах гелиотропа, то это вполне конкретно, а такая постановка вопроса вполне в духе Малларме и его времени. Видишь, в конце концов всегда ссылаются на Малларме, но в данном случае эта ссылка вполне оправданна. Я бы предпочла, чтобы они говорили —

– вернее, чтобы мы говорили, —

о чем-нибудь вполне конкретном и совсем не метафизическом, ну, к примеру, почему слово «эутрапелия» в моем носу вызывает те же ощущения, что и гелиотроп. Филология, аналогия, семантика, символизм – какие это прекрасные вещи, и как бы славно мы ужились с ними! Но не получается. Хуану приходится бежать из мира элегантных понятий, чтобы взглянуть себе в лицо и осознать свой способ бытия. У него это называется конкретизировать художественное произведение или основы художественного творчества. Я же на-

зываю это: поднести спичку к пороху —

– и все взлетает к чертовой матери, – Клара dixit²⁰.

– Поразительно, – признал репортер. – Эутрапелия. Черт подери!

– Кофе, – сказал Андрес. – Нет, флан со сливками я не хочу. Не хочу, дорогая.

– А я съем флан со сливками, – сказала Стелла.

«Абель, – подумала Клара устало. – Бедный Абелито. Вот бы обалдел, если бы услышал меня. А завтра... Нет, Андрес, поздно смотреть на меня так. Раз и навсегда поздно, Андрес. Раз и навсегда». Официант уронил стакан, Стелла засмеялась, и парень стал объяснять, что стакан просто выскользнул у него; Стелла перестала смеяться и, судя по всему, с интересом слушала его объяснения.

– Издержки производства, – говорил официант, ловко подталкивая ногой осколки к стенке. – Каждый день бьют три-четыре штуки. Патрон из себя выходит, но что поделаешь – издержки производства.

– Да и стекольному фабриканту надо дать подзаработать, – сказала Стелла.

– Ешь флан, – попросила Клара и искоса взглянула на Андреса, который закрыл глаза в ожидании взрыва или чуда. Пронзительный вопль продавца газет заставил всех вздрогнуть. Продавец влетел в дверь, прошелся меж столиков, вы-

²⁰ Сказала (лат.).

крикивая новости уже не так громко. Репортер проводил его взглядом до двери и устало махнул рукой.

– Я это пишу, а он продает, – сказал репортер. – А вы потом читаете – вот вам и святая троица и тэ дэ и тэ пэ. Ладно, пошли.

«Как глупо, – подумал Хуан, когда они выходили, – разговаривать, слушать разговоры и знать, что все это не совсем так. Это еще одна, быть может, худшая, наша слабость – трусость. Те из нас, кто чего-то стоит, не уверены ни в чем. Быть безмятежно уверенным может только животное».

– Пошли по Леандро Алема до Майской площади, – попросила Стелла. – Я хочу посмотреть, что там творится.

– Если удастся что-нибудь разглядеть, – сказал репортер, принюхиваясь к туману.

Они прошли мимо Почтамта, воздух казался липким, разговаривать не хотелось. Из луна-парка вдруг донеслись крики, взмыли вверх и мягко распались в воздухе.

– Кто-то шмякнулся на ринге, – сказал репортер. – Знаешь, Хуан, боксеры – счастливые люди, они дерутся с упоением, не бой, а музыка жизни.

– Апоксиомен – певец, – сказал Хуан. – Однако сегодня ночью здесь никто не поет. Послушай, репортер, это тебе мой подарок, свеженькое, направленное. Называться будет, наверное, «Фауна и флора реки».

Река течет с неба, серьезно и прочно,

натягивает простыни до подбородка и спит,
а мы тут, уходим мы и приходим.

Ла-Плата, серебряная река, днем она
орошает нас ветром и студенистой прохладой;
она отрекается от востока, ибо мир кончается
за фонарями Костанеры.

А дальше – не спорь, читать эти строки
лучше всего в кафе, под мелким, с монетку, небом,
бежав от всего и вся, от новых обычных будней,
чтобы вольно гулять по снам, по желтой речной слюне.

Почти ничего не осталось; разве что пристыженная
любовь,

роняющая слезы в почтовые ящики, и прячущаяся
в углах (но ее все равно все видят),

и хранящая милые сердцу предметы, фотографии,
и цепочки,

и тонкие носовые платки

там, где хранится все то, что не для чужого глаза,
на самом дне кармана, среди монет и крошек,
где шелестит короткая ночь.

Другим, может, все равно, но я —

но я не люблю Расина,

не нравится мне аспирин,

и новый день ненавистен.

Я исхожу в ожидании,

случается, сквернословлю, и мне говорят,

что с тобою, дружище,

ты – как северный ветер, чтоб ему было пусто.

– Мне нравится, – просто сказал Андрес (потому что все молчали и стояли вокруг Хуана, а у того блестели глаза, и он провел тыльной стороной ладони по лицу и отвернулся, чтобы не видели его глаз).

На набережной у стоянки клуба автомобилистов земля была усыпана бумагой. Ветер взвихрил ее над машинами, и клочья ложились на землю грязным снегопадом, застревающая в ручках дверей, скользя по мыльно-скользким крышам «шевроле» и «пontiаков». Все было усыпано обрывками газет, скомканной или разорванной в клочья оберточной и папиросной бумагой, конвертами, клочками шелковой и копировальной бумаги, черновиками. Ветер забил ворохи бумаг в промежутки между машинами, прибил к краям тротуара, разметал по газонам.

Хуан шел впереди и, когда увидел это море грязной бумаги, едва удержался от желания обойти его и спуститься вниз, за парапет. Остальные шли и переговаривались тихо, так затихают звуки в конце сонаты, так стихают раскаты грома, а Хуан шел впереди, сжимая в руках кочан цветной капусты, и думал об оставшихся до экзамена часах. Экзамен представлялся ему четким пределом, бакеном, к которому следовало плыть. Хорошая вещь – четкий предел, экзамен. Четкий предел – это вроде отметки карандашом на градуированной линейке: отделяет предшествующее, отмеряет расстояние, — а в данном случае – время, и срок, и импульс,

который прекращается в определенный момент:
так заводишь часы, которые должны остановиться
в семь пятнадцать,
и в семь десять часы начинают замедлять ход,
тикать лениво
и дотягивают до
семи восемнадцати, тягостно тянут,
диастола, еще диастола,
опять диастола,
робко, робко, и вот наконец застывают:
часовая стрелка, минутная стрелка, секундная.

С улицы Бартоломе Митре (здесь бумаг уже не было) они увидели слепящий свет над Майской площадью. Розовый Дворец²¹ проступал сквозь клочья тумана, балконы и двери были ярко освещены. «Прием, – подумал Хуан. – Или смена кабинета министров. Нет, пожалуй, при смене кабинета лишних огней не зажигают». Яркие огни Майской площади отсвечивали в окнах соседних домов. Издали доносилась металлическая музыка, эта профанация музыки (любой музыки), потому что, когда музыку передают по громкоговорителям, прекрасное разрушается, это все равно что Антиноя впрячь в телегу с мусором, жаворонка засунуть в ботинок. «Жаворонка – в ботинок», – повторил Хуан.

Клара подошла к нему, но смотрела поверх его взгляда.
– Дай я понесу пакет, если тебе надоело.

²¹ Розовый Дворец – Дом президента.

– Не надо, я хочу нести сам.

– Ладно.

– Не понимаю, зачем мы идем на Майскую площадь.

– Стелле захотелось, – сказала Клара. – Похоже, они по-прежнему необычайно внимательны друг к другу.

Репортер поравнялся с ними. Он шел, засунув руки в карманы брюк; пиджак был застегнут, и оттого казалось, что по бокам у него выросли плавники.

– Весь Буэнос-Айрес сбежался поглядеть на мощи, – сказал репортер. – Вчера вечером поезд из Тукумана привез полторы тысячи рабочих. Перед Муниципалитетом устроили народное гулянье. Смотри, на углу перекрыли движение. Тут будет жарко.

Они поднялись по крутому склону вдоль правительственного здания. Сверху (Андрес со Стеллой присоединились к ним, но никто не разговаривал) хорошо было видно, как течет людская толпа к противоположному концу площади, а потом расходится по улицам Ривадавии и Иригойена. Но в середине толпа казалась почти неподвижной, лишь время от времени по ней словно прокатывались волны, однако заметно это было лишь издали.

– Соорудили святилище в форме пирамиды – жесткие ребра, обтянутые брезентом, – пояснил репортер.

– Ты там был? – спросил Хуан.

– По службе, – сказал репортер. – И написал здоровый репортаж.

– Другими словами, ты освятил это паломничество. И не смотри на меня исподлобья, ибо это – правда. Они натянули брезент, а твоя газета натянула нос людям, по двадцать грошей за небылицу.

– Не надо так говорить, – сказал Андрес очень серьезно. – Люди приходят сюда не из-за газет. Никакой газетной кампанией нельзя объяснить некоторые взрывы ярости или энтузиазма. Кто-то говорил мне, что ритуалы возникают спонтанно и время от времени придумываются новые.

– Ритуалы не придумываются, – сказал репортер. – Их или вспоминают, или открывают заново. Они существуют испокон веков.

– Пошли на площадь, – попросила Стелла. – Здесь ничего не видно.

Сзади завывла сирена, они обернулись. По улице Алема проехали две санитарные машины, за ними – мотоциклы, за теми – еще одна «Скорая помощь».

Они вышли на площадь к самым балконам Дома Правительства. Жара, яркие огни и скопление народа спрессовали здесь туман в мутное, темное облако и придавили к самой земле. Сотни людей, одетых однообразно во что-то пегое, синее, табачное, а иногда темно-зеленое, собрались на площади. Под ногами чувствовалась мягкая земля – недавно тут сняли широкие тротуары, чтобы расчистить площадь, хотя репортер уверял, что таким образом никогда и ничего не расчистишь, и яростно топтал ногами землю, – и продви-

гаться приходилось с осторожностью, то и дело цепляясь за локоть или плечо соседа, если казалось, что он тверже стоит на этой неровной почве, где прочной, похоже, была одна Пирамида.

Андрес увидел, что Клара покачнулась, и крепко взял ее под руку. Хуан поднял к груди пакет с кочаном, а другую руку выставил вперед, защищая его. Они продвинулись на несколько метров, стараясь разглядеть священное сооружение.

– Вам бы сейчас спать и набираться сил для завтрашнего дня, – сказал Андрес.

– Я бы не заснула, – сказала Клара. – На экзамены лучше приходиться усталой, чтобы глаза блестели. Хорошо бы меня спросили о психологии толпы, я бы им рассказала вот об этом, и дело с концом.

– Да, есть о чем рассказать, – согласился Андрес, расчищая ей место, чтобы она видела лучше. Но чтобы видеть лучше, надо было работать локтями —

– что же вы делаете, в самом деле, по улице не умеете ходить, что ли,

скажи своему братишке, чтобы не лез напролом, Боже мой, что за парень, просто напасть, не толкайся, эй, ты, негр, ты меня выведешь из себя, – пробираясь меж напирających со всех сторон тел, затылков, шейных платков, надо было продираться сквозь стену молчаливых типов, которые словно чего-то ждали. Прижимаясь

к Андресу, Клара пролезла в щель между двумя черными пиджаками и заглянула внутрь магического круга. Взявшись под руки, люди образовали круг, а в центре круга стояла женщина в белой тунике, нечто среднее между школьной учительницей и аллегорией Отчизны, которую никогда не попирали тираны; длинные белокурые волосы свободно падали на грудь. Двое или трое сухопарых плебейского вида мужчин священнодействовали на этом обряде. Клара смотрела, как они двигались – словно нехотя, по обязанности танцевали перикон. Ей вспомнился Прилидиано Пуэйрредон, она глубоко втянула мыльный воздух, словно желая разглядеть получше. Один из мужчин подошел к женщине, положил ей руку на плечо.

– Она хорошая, – сказал он. – Она очень хорошая.

– Она хорошая, – повторили следом за ним другие.

– Она пришла из Линкольна, из Курусу Куатиа и из Пресиденте Рока, – сказал мужчина.

– Она пришла, – повторили остальные.

– Она пришла из Формосы, из Ковунко, из Ногойи и из Чападмалалья.

– Она пришла.

– Она хорошая, – сказал мужчина.

– Она хорошая.

Женщина не шевелилась, но Кларе видны были ее руки, словно приклеенные к бедрам, а пальцы сжимались и разжимались, будто она вот-вот разразится истерикой. Кларе ста-

ло страшно и до ужаса омерзительно, потому что она вдруг поняла —

но как она могла, как она

могла,

и обратно пути нет, механизм пущен и все

НЕОБРАТИМО,

как невозвратно то, что унесено временем, —

но как она могла прошептать все-таки вместе со всеми:

«Она хорошая». Она услышала это обратным слухом, услышала истинный голос, который слышен в момент его рождения, в самой глотке

(девочкой ей нравилось зажимать уши и петь или дышать глубоко; а когда у нее был бронхит – слушать свои хрипы, по-свистывающие, будто маленькие лягушата или совы, а потом откашляться – и весь оркестр понемногу снова настраивался, собирал воедино разные темы, прекрасные, потому что она хорошая).

– Пошли отсюда, – попросила она, испуганно повисая на руке у Андреса.

Тот посмотрел на нее и ничего не сказал. Хуан со Стеллой заворачивали вправо, репортер плелся за ними. Клара с Андресом с трудом стали пробираться за ними, потому что всем хотелось увидеть женщину, потому что она хорошая, она пришла из Чападмалаля. Прижимаясь к Андресу, Клара шла с закрытыми глазами и тяжело дышала. «Я пела вместе с ними, молилась вместе с ними. Я подписалась, подпи-

салась». Глупо, однако какая-то ее часть —

какой-то кусочек, на секунду освободившись от всего ее остального существа, воспринял ритуальную процедуру и смиренно проглотил облатку.

— Мне страшно, Андрес, — сказала она очень тихо. Его мысли были над всем этим, однако отправной точкой стало именно это.

«Армагеддон, — думал он. — О, бледная долина, о, смертный час».

— Осторожнее с этим проходимцем слева, у него лицо карманника, — сказал репортер, толкая Хуана в бок. — Идешь по улице и ничего не видишь вокруг. Со своим кочаном. Гляди, он тебя обчистит. Есть карманники, а есть и капустники. До чего же мне нравятся —

— проходите, сеньора, —

красивые слова. Как это — эутрапелия? Но, знаешь —

— да, молодой человек, святилище,

— да, там —

наш Дирек ненавидит стиль, он считает, что стиль в журналистике — эутрапелия, вот именно, эутрапелия. Он верит в headlines²² и готов заполнить ими все пространство, в духе «All American Cables»²³. Он не дает мне развернуться, не дает писать хорошо, че! Унылый тип.

²² Заголовки (англ.).

²³ «Всеамериканская телефонно-телеграфная сеть» (англ.).

– Что ты называешь «писать хорошо»? – спросил Хуан. – И хватит отвлекать нас. Мы пришли посмотреть, и мы будем смотреть. Стелла, иди сюда, просунься между этими здоровыми парагвайцами. Давай, детка, оттачивай свой стиль, тебе никакой Дирек ничего не скажет.

– Ты плохой товарищ, – сказал репортер. – Напомни мне потом. Я объясню тебе, что я имею в виду под стилем.

Они уже видели стойки, на которые был натянут брезент. Но оставалось преодолеть самую сложную часть пути – пассивную стражу из сотен державшихся друг за дружку женщин, которые застыли, точно столбы, в густой атмосфере ожидания, тяжелых испарений и перешептывания. Андрес жестом указал направление, откуда в этот момент раздался пронзительный детский крик. Они пошли сквозь толпу на крик. На скамеечке сидел мальчонка лет восьми; двое мужчин, встав на колени, держали его за плечи и за талию. Парень с раскосыми глазами и зверской рожей стоял в метре от мальчика и целился ему в лицо огромной сапожной иглой. Он подходил к нему все ближе и целился сперва в рот, потом в глаз, потом в нос. Мальчик отбивался, вопил от ужаса, на светлых штанишках проступили пятна – от страха он обмочился. И тогда парень бесстрастно отступал назад, а люди, стоявшие вокруг, шептали что-то, чего Андрес (он единственный подошел ближе, чтобы видеть) не разобрал. Что-то вроде

Посредине-посредине-посредине по-

средине
если только
Враги-враги-враги-враги.

Хуан с репортером, почуяв недоброе, крепко держали женщин под руки и не давали им подойти поближе.

– Сукины дети, – сказал Андрес и, схватив Стеллу за руку, твердым шагом направился в сторону святилища.

– Ты белый, как лист! – сказала Стелла.

– Уточни, какой лист, – сказал Андрес, не глядя на нее. – Листья, как правило, зеленые.

– Филолог – до тошноты, – сказал репортер. – Че, послушайте – музыка.

Плотная ограда из могучих спин остановила их метрах в пяти от святилища. Сине-черно-сине-красно-зелено-черная ограда

– и никакой сумятицы, никаких «позвольте, сеньора», никаких «дайте дорогу официальным лицам» —

– Сплошная мешанина, – пробормотал Хуан. – Никакого стиля.

– Стиль умер, – сказал Андрес.

– Да здравствует стиль! – сказал репортер. – Че, слышите? – музыка.

Как же, конечно, они слышали. «Поэт и селяниииии-ин». «Что за черт, – подумал репортер. – Прав Хуан. Никакого стиля. Просто в голове не укладывается: задастые негритян-

ки в почетном карауле вокруг святилища, и все это – под слащавую музыку фон Зуппе. Зачем в центре пампы – фригидариум? И что делаем тут мы?»

– Более поносных скрипок я в жизни не слышал, – сказал Хуан. – Боже мой, просто безумие. Почему они не врежут им танго?

– Потому что им нравится это, – сказал репортер. – Не видишь разве: эти несчастные люди открыли для себя музыку через кино. Ты думаешь, что мерзость под названием «Незабываемая песня» не сделала своего дела? Мощи под Чайковского, пиццу под Рахманинова.

– Давайте же подойдем, в конце концов, – попросила Клара. – Я больше не могу. Ноги вязнут в земле, умираю, хочу пить.

– Умирает от жажды у подножия Пирамиды, – сказал репортер. – Банально, но с изюминкой.

Умирать от жажды у подножия Пирамиды —
Блистательный образ нашей Отчизны!

– Чистый Египет, – сказал Андрес. – Сеньора, позвольте, мы пройдем.

– Проходите, пожалуйста, – ответила сеньора. – Кто вам мешает?

– И в самом деле, никто, – сказал Андрес.

– Что вы говорите?

– Ничего, сеньора.

*Миленький мотив,
Лунный перелив,
Грам-па-рам-па-рам.*

– Какие остроумные, – сказала сеньора.

Затем они наткнулись на славянскую чету, которая пробиралась в том же направлении, что и они, но делала все возможное, чтобы казалось, будто они двигаются в противоположную сторону. А потом – о, эта последовательность, о, эти А, Б, В, один за другом, – потом стало ясно, что они зашли не с того края и оказались у той части святилища, которая была наглухо затянута брезентом и выходила на Ривадавию, а потому —

как в коробке с пластинками,

как в ящике с инструментом,

как в папке для бумаг,

вход был с другой стороны, с другой стороны, с другой стороны Пирамиды —

С ВЕРШИНЫ КОТОРОЙ ДВАДЦАТЬ ВЕКОВ НЕ ВЗИРАЮТ НА ВАС —

и надо было идти на другой конец, совсем недалеко, к близкому, но все время отодвигающемуся горизонту, на улицу Иполито Иригойена.

– Мне раздолбали кочан, – сказал Хуан Стелле, которая шла и лучилась счастьем. – Жалко до слез, видела бы ты, каким он был, просто душа радовалась.

– Завтра можешь купить новый, – сказала Стелла.

– Разумеется. Как Кокто Орфею: «Убей Эвридику. Сразу легче станет».

– Ну, – сказала Стелла, – просто я хотела сказать...

– Ну конечно. Просто не всегда попадаешь на рынок «Дель Плата» в тот момент, когда продается такой кочан. Должны идеально совпасть тысячи разнообразных факторов. К примеру, я расстаюсь с друзьями на этом углу двумя минутами позже и упускаю покупку. Я это точно знаю, потому что едва я взял кочан в руки, как —

– Педик сраный, – совершенно отчетливо произнес чей-то высокообразованный голос в толпе.

*Баю-бай, цветочный,
баю-бай, кочан.*

Да —

тотчас же увидел сеньору, которая пожирала его налитыми зеленой завистью глазами. Видишь, тысячи факторов.

– Че, как толкаются, – отдуваясь, сказал репортер, шедший сзади. – Что за ночь, братец! Сидел бы я спокойно в кафе, да надо было явиться вам, а теперь хлебай. Я готов был поклясться, что вход со стороны Ривадавии. Кажется, я так и написал в репортаже.

Они обошли святилище—

«Он под звуки танго шел по мостовой» —

и добрались до насыпи, на которой возвышалась —
– Эй, Мигелито! Куда вы с отцом запропалились?
– Мы за Пиради-и-идом!

славная, неувядающая, не оскверненная никаким «джи-пом» никакого победителя колонна свободных, трон мужественных —

Партизаны спешили и коней оставили
возле Пирамиды —

Альсага – к смерти

Линье – к смерти

Доррего – к смерти

Факундо – к смерти

Бедненький покойничек

Mistah Kurtz he dead²⁴

Бедная пастушка

преставилась в поле

Crévons, crévons, qu'un sang impur

abreuve nos fauteuils

provinciaux²⁵

Да, сегодня, наверное, можно было выгодно купить, – сказала Стелла.

Пес, едва различимый меж мерцающей колоннадой брюк и чулок, обнюхивал туфли Стеллы. Андрес с Кларой успели

²⁴ Миста Куртц – он мертвый (англ.).

²⁵ Подохнем, подохнем, пусть нечистая кровь омоет наши провинциальные кресла (франц.). Переиначенный куплет из «Марсельезы».

уйти вперед и теперь обходили ребро Пирамиды. «Специально для святилища сделали насыпь выше, – подумал Хуан. – Когда все это кончится, площадь станет безобразной». Земля под ногами была совсем мягкой, и, чтобы сохранить равновесие, ему пришлось свободной рукой опереться о стену Пирамиды. И тут в толпе, слева, чуть позади, он увидел Абея. Он увидел его в тот момент, когда толпа вдруг качнулась, – вот так посреди разговора вдруг на мгновение неожиданно наступает тишина, —

«Тихий ангел пролетел», – говорила бабушка, словно колодец в воздушном пространстве, который углубляется и углубляется, и надо положить ему конец, произнести первое слово, крутануть руль и выйти из штопора. «Опять он», – подумал Хуан, не желая признаваться в подступавшем беспокойстве.

– Наконец-то, – сказала Стелла. – Уф, какая жарница! А внутри, наверное, вообще кошмар.

– Я думаю, туда впускают партиями, – сказал Хуан. – Должно быть, там есть кондиционер.

Ему захотелось сказать Андресу, что он видел Абея. «А может, я ошибся, – подумал он. – Но это бледное лицо, эти напوماженные волосы. Да и костюм тот же, что был на нем в кафе, с острыми плечами. Бедный Абеито, подумать только, мне придется набить ему морду, доведет он меня». Брезент затрепетал так, словно внутри кто-то забил крыльями. Они подошли уже совсем близко и должны были вой-

ти со второй или третьей партией. Лампы на высоких стойках освещали именно этот сектор, яркий свет пробивался сквозь туман и дым, высвечивал гипсово-грязные лица, желтоватые, усталые тени.

– Посмотри на этого типа. – Репортер указал на фигуру, возникшую вдруг над толпой около входа в святилище. Должно быть, ее подняли на помост или на стол: она появилась неожиданно – белолицый паяц в ярком снопе света. Жаркая тишина окутала паяца, тишина, пронизанная далекими криками и пением тех, кто еще не увидел его.

– Настал момент понять, что есть выход, – произнес паяц с механическим напором сорочьим голосом. – Мы всю жизнь пытались объяснить себе, что есть вход, какие дороги к нему ведут, необходимые условия входа, смысл входа, **ТО БЫЛ ДЕСГЛОССАРИЙ ВХОДА!**

Доверьтесь мне! Я возвращаюсь из этого путешествия, как возвращается мореплаватель, презирующий все компасы, ибо —

звезды истины в глубинах его души указывают ему правильный путь.

– А пошел ты в Калькутту, – сказал Хуан довольно громко.

– Бога ради, держи язык за зубами, – сказала Клара, ущипнув его так, что он подскочил.

– Сограждане, – произнесла сорока, —
настал час выхода

(Who killed Cock Robin?²⁶),

настал час потрудиться,

причащение реликвии у вас произошло

(они вдруг поняли, что паяц обращается не к ним, а к колонне, выходявшей из святилища и сворачивавшей к зданию Муниципалитета),

но память о ней вы унесете в сердцах —

у Сердца нет костей —

«А лучше бы ему быть с костями, – подумал Андрес. – Слабо вооружены мы для жизни. Кожа и кости, roveretti²⁷. Кости, броня, хитин, а внутри ткань, словно подкладка скорлупы».

– И КРОМЕ ТОГО, ХОЧУ ВАМ ВЫСКАЗАТЬ, НА АЛТАРЬ ОТЕЧЕСТВА

(икнул голосом, похожим на автомобильный клаксон)

принесены наши

(Hearts, again?²⁸)

смиранные

(Не из них ли небесные сонмы?)

жертвы

(Вот тут промахнулся: вылезло-таки из тебя бахвальство, как шило из мешка),

иунасхватитсилпродолжатьделодальшедопобедногоконца

²⁶ Кто убил Робина-Дрозда? (англ.).

²⁷ Бедняжки (итал.).

²⁸ Неужели опять – сердца? (англ.).

ДАЗДРАВСТВУЕТ ДАЗДРАВСТВУЕТ ДАЗДРАВСТВУ-
ЕТ!!!

– А мы, – сказал репортер, – не сподобились такой знатной оратории. Какая глубина мысли! Как бы сказал мой Дирек: безмерная.

– Некоторые места были неплохи, – сказала Клара. – Я не уверена, что надо выставлять Демосфена перед толпою на Майской площади. Этот стиль отжил и не удовлетворяет новым потребностям. По-моему, Мальро очень правильно отметил: бывает время, когда искусства предпочитают выглядеть регрессивными, нежели продолжать копировать модули, лишённые жизненной силы, и —

– это то, что я, по сути дела, хочу сказать на экзамене, если мне попадетя четвертый билет, дай-то Бог.

– Прекрасно, – отозвался пораженный репортер. – Я тоже не верю в модули. Но этот тип не сказал ничего. Разумеется, хуже было бы, если бы он заставил нас поверить с помощью определенной техники, будто он что-то сказал.

И тут из репродукторов зазвучала

Партита Иоганна

Себастьяна Баха, и скрипка прорывалась

сквозь здравицы и пересуды —

– Смотри, какой пример стиля, – сказал Андрес и нехотя засмеялся. – Не думаю, что при жизни старика люди, услышав эту музыку, преклоняли колена, и полагаю, что, на наш взгляд, любые прошлые времена не лучше теперешних. Но

мы хотим постичь в стиле непреходящее: совершенство в настройке скрипки, где каждая струна имеет свое неповторимое звучание, но этого больше нет, а перед нами – сундук, набитый чем попало, и мы не можем в нем разобраться, хотя уже пора наряжаться и идти на праздник.

– Ничего нового ты не сказал, – отозвался Хуан. – После «The Waste Land»²⁹, я полагаю, лучше помолчать. Оратор был замечательный. Ничего не сказал, и все в восторге. А мы, которые должны что-то сказать, мы, как видишь, разговариваем тихо-тихо от страха, как бы нам не накостыляли. Оратор в данной ситуации годится гораздо больше, чем мы.

– Ты строг как всегда, – сказал репортер. – Напомни, чтобы я объяснил тебе мое понимание стиля. И собак сюда тоже пускают?

– Не думаю, – сказала Стелла. – Они все изгадят.

– Правильнее было бы пускать, – сказала Клара. – Кости – собачье дело.

– О, моя сладкая, моя остроумная эпиграммистка, – сказал Хуан. – Ну вот, кажется, на этот раз мы войдем. И узнаем наконец, отразил ли наш друг в своем репортаже подлинную картину святилища. Не часто удается сличать журналистскую продукцию с действительностью.

– Ба, я не изменил ничего, кроме самого главного, – сказал репортер. – И про собак забыл сказать. А их вокруг святилища – невероятное количество, просто туча. Посмотри-

²⁹ «Бесплодная земля» (англ.).

те на этого фокстерьера, на этого пятколиза. Мне почему-то не нравится, когда собаки путаются под ногами. Путаются, гадят.

– И как будто чего-то просят, это действует на нервы, – сказал Андрес. – Осторожно, дорогая, ты вляпалась в грязь по самую щиколотку. – Он закрыл глаза, словно бы в ярости, открыл и снова закрыл, сноп света падал ему на лицо раскаленной манной крупой, и туман стоял такой, что приступ ярости не пробился сквозь него. Он подумал: заметил ли Хуан Абея, как тот шел, прячась за спины рабочих, выступавших стройными рядами, радующихся сословной радостью людей, которые всем миром вершат ДЕЛО ЧЕСТИ.

– Че, послушай, – сказал репортер, довольный, что вспомнил. – Мне рассказал это один мой друг, фотограф. Слушай внимательно, это первостатейный пример стиля. Одна парочка сфотографировалась и через неделю пришла смотреть пробные снимки. Думали, думали и в конце концов выбрали один. Девушка говорит парню: «Мне кажется, тебе все-таки не очень нравится...» Тот, немного удивленный, отвечает: «Ну да, снимок-то хороший, и ты хорошо получилась, жаль только, что у меня не видны значок и шариковая ручка».

– «Сеста»! – завопил мальчишка-газетчик, и в мгновение ока у него разобрали все газеты.

Они уже стояли перед самым входом (брзент тут был забрызган чем-то черным, гудроном или клеем), и люди в очереди занялись газетами. Совсем рядом завывала собака, и

все засмеялись, снопы света дрогнули и вновь упали ровным ярким светом. Из репродукторов неслась «Венгерская рапсодия», одна из самых популярных. «Странно, что Абель здесь, – подумал Андрес, глядя ему вслед. – Это он, я уверен. И Хуан перед ужином его видел».

Вчера все было как обычно, домой вернулись пьяными в стельку. По словам соседней, вскоре после их прихода началась страшная ссора, быстро переросшая в драку, в ходе которой Перес схватил нож, напал на своего противника и нанес ему десять страшных ножевых ранений в различные части тела, отчего тот свалился бездыханным.

– Какое варварство, – сказала сеньора. – Смотри, Эстерсита, что творится.

– В газете написано? – спросила Эстерсита, оказавшаяся косоглазой.

– Все, все, от слова до слова. Бедняжка, сегодня никто не может быть спокоен за свою жизнь. Если бы не Господь Бог, мы бы все уже были мертвы.

– Послушай, что играют, – сказала Эстерсита. – У Куки есть эта пластинка. Брат жениха подарил, у него своя лавочка. Запись Кастеланеса. Божественная.

– Да, классическая вещь, – сказала сеньора. – Вроде того, что играла та, из восьмой квартиры, в субботу, когда мы были в гостях у тетки.

– О, божественная вещь! Грандиозная! Если бы у меня

была радиола, я бы целыми днями слушала классику. Божественно! Послушай, как скрипка играет!

– О, грандиозно, – сказала сеньора. – Похоже на «Лунную сонату».

– И правда, – сказала Эстерсита. – Почти точь-в-точь, только «Лунная соната» немножко романтичнее.

– Мать вашу, – сказал репортер. – Ну, пошли, наша очередь. Возьмемся покрепче за руки, да смотрите в оба, как бы в карман не залезли.

Входя, они услышали, как следующий оратор провожал выходящую людскую колонну. «Кажется, чешет стихами, – подумал Андрес. – С ума сойти».

«О боги», – подумал Хуан и вспомнил:

*И ходят боги среди брошенного хлама,
брезгливо подбирая полы одеяний.
И бродят меж гнилых кошачьих трупов,
открытых язв и аккордеонов,
подошвами сандалий ощущая волглость
гниющего тряпья,
блевотины времен.*

*Им не живет больше в голом небе,
их сбросили оттуда боль и сон тревожный,
и бродят, раненные грязью и кошмаром,
вдруг останавливаясь, чтоб пересчитать*

*почивших, мертвых,
и облака, упавшие ничком, и издыхающих собак
с разодранною пастью.*

*Они лежат без сна ночами и любятя застывшими
движеньями сомнамбул,
валяются вповалку на ложе нищенском,
обмениваясь хмурыми, как плач, лобзаннями
и с завистью заглядывая в пропасть,
где крысы ловкие, визжа, дерутся
за лоскуты знамен.*

– Тише!

– О'кей, о'кей, – сказал репортер смиренно, и охранник пристально поглядел на него.

– Поменьше «океев» и побольше уважения, сеньор. Это – священное место поклонения. Постройтесь в цепочку, один за другим, по очереди. И вы тоже, молодой человек. Сеньора, я же сказал: по очереди. Тише!

В полутьме, робко ощупывая мягкую почву (оттого, что ее огородили брезентом, земля под ногами не стала иной), пятнадцать вошедших построились в цепочку. В почти полной темноте охранник направил луч фонарика в пол. Снаружи доносился собачий лай —

а брезент дрожал, как будто огромный пес чесался об него,

и голоса, дурманящая тьма —

«Ну, сукин сын, заводи свою проповедь в децимах», – по-

думал Андрес, разъяряясь и зная, что на самом деле злился не на оратора, а на Абея; и даже не на самого Абея, а на то, что он где-то здесь, более того —

хотелось, чтобы была причина разозлиться (вообще, на Абея, на что-нибудь еще) и, наконец, что-то сделать. «Вот она, великая проблема, о Арджуна: делать что-то и иметь на то причину».

Фонарик уперся в потолок, и занятно было видеть, как белый луч ударялся о брезент, дырявил его и перебежал на другую сторону (мощные лампы снаружи освещали только контуры, но не внутреннее пространство святилища), наткнулся на хрупкую колонну, повторявшую мощные очертания такой же колонны, державшей брезент снаружи. Наверху, где концы брезента сходились, луч разбивался о блестящий диск; и тогда казалось, будто два вражеских прожектора шарят по небу

– но тот, что снаружи, был слабее —

и сходятся на брезенте в яростной схватке, гонятся друг за другом и сшибаются, кусая брезент. Внутренний луч был достаточно сильным, чтобы высветить фигуру охранника, цепочку посетителей и квадратный черный ящик на четырех ножках, возносивших его на метр шестьдесят сантиметров над землею. (На стеклянной крышке ящика слабо отражалось светящееся отверстие в потолке, луч света метался по крышке, это было красиво.)

– Можете по одному подходить поближе, – сказал охран-

ник, резко опуская фонарь (луч хлыстом ударил по цепочке людей) и направляя его на ящик. – Смотрите под ноги, земля скользкая.

Стелла шла первой с полным на то правом. Хуан забавлялся (не подсознательно, а всем своим существом, кожей), глядя, как она остановилась у ящика —

высунув кончик языка, крепко прижав к груди сумку, поднялась на цыпочки, вся дрожа в отблеске света, падавшего на стеклянную крышку, прелестная языческая почитательница без веры, мощепоклонница, праздношатающаяся просительница из породы зевак, созданных матерью-природой.

– ДАВАЙТЕ, СЕНЬОРА, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД.

На вате лежала кость. В луче света она искрилась, будто крупинками сахара. Все смотрели,

– ДАВАЙТЕ, СЕНЬОРА, ПОВОРАЧИВАЙТЕ НАЗАД, НЕ СПИТЕ —

видно было прекрасно, хотя мощи были почти такие же белые, как вата, чуть розовее ваты, с какими-то светло-желтыми пятнышками.

– ВЫ ЧТО, ВСЮ НОЧЬ ТАМ СТОЯТЬ СОБИРАЕТЕСЬ?

Пройдя мимо ящика, цепочка людей оказывалась у выхода – незакрепленного куска брезента. Репортер, замыкавший цепочку, задержался около ящика, не спеша разгляды-

вая мощи. Охранник погасил фонарь.

– СЕАНС ОКОНЧЕН: ВЫХОДИТЕ, —

и пришлось выходить, натываясь на людей, остановившихся у помоста послушать оратора. На их долю выпал рыжий толстяк в жилете с золотой цепочкой на брюхе.

– Хорошо бы произнес что-нибудь эдакое, – сказала Клара. – Для полноты впечатлений.

Шеренга на выходе рассыпалась, люди столпились у помоста. Сверху лились потоки света (лучи прожекторов иногда двигались), прищипывая людей, словно насекомых к картонке. Ничего не оставалось, как сбиться в кучку, прижаться друг к другу, Андресу к Стелле, Кларе к Хуану, а в центре – репортер. В двадцати метрах от них рокотал барабан, пели женщины, но все глаза были устремлены на оратора, который чего-то ждал.

– Я не буду говорить, – произнес наконец оратор, поднимаясь на цыпочки. (Он был маленького росточка, похожий на певца.) – Наоборот. – Розовым пальчиком он указывал на святилище. – Я прошу минутку молчания. – Но все и так молчали. – Чтобы почтить великое. – (Нерешительная пауза.) – Величайшее из величайших. – Все продолжали молчать. – Уникальное, единственное в своем роде.

– Только этого нам не хватало, – сказал репортер. – Ждешь захватывающей речи, а нарываешься на тягомотину.

– Тише, – сказал сеньор в черном галстуке.

– Тише, – сказал Андрес. – Одну минуту.

– Помолчи, пожалуйста, – взмолилась Стелла, озираясь по сторонам.

Оратор снова поднялся на цыпочки и замахал ручками, отгоняя moskitov. «Считает секунды, как рефери на ринге», – подумал Хуан. Оратор раскрывал и закрывал рот, и люди ждали, но тут поднялся брезент над выходом и из святилища вышла следующая партия; у подмостков стало тесно, люди начали роптать и вдруг разом смолкли: так отчаянно замахал ручками оратор. «Самый момент выбить скамейку у него из-под ног и послать в задницу этот рыжий кусок мяса», – подумал Хуан. Он отстранил Стеллу, расчищая пространство и становясь так, чтобы выходящие из шатра вытолкнули его вперед, но в этот самый миг оратор издал пронзительный клич и застыл, закатив глаза и выбросив ручки вперед (золотая цепочка раскачивалась на брюхе).

– О, минута! – завопил он. – Что такое минута, если веков не хватило молча умиляться, глядя на это свидетельство, —
– Послушайте, вы думаете, у меня ноги железобетонные? в сравнении с которым, дамы и господа, ничто —
– Давайте рвать отсюда когти, – сказал репортер. – У него заготовлена целая речь.

величие самых великих святых —

– Убери свой локоть, всем святым заклиная!
и властителей, ибо настало время сказать это:
Мы – АРГЕНТИНЦЫ!

– Наконец-то произнесено словечко, которое все объясня-

ет, – сказал Андрес. – Давайте выбираться отсюда, вот здесь просвет. Пошли за этим лохматым псом, он знает, что делает!

Пес в мгновение ока вывел их из толпы, и репортер даже отважился почесать его за ухом в знак благодарности. Пес в ответ попытался куснуть его.

В кафе «Боливар» они немного стряхнули с себя пыль и усталость. Официант, бровастый испанец, отозвался о тумане как о своем личном недруге. Труднее всего было с глиной: Стеллины туфли пришлось отчищать ножом, а Кларе стыдно было даже смотреть на свои чулки. Официант оказался потрясающим парнем; его волновал только туман, это действительно дело серьезное. Он принес сигары, лимонный сок и опять пустился в рассуждения о тумане.

– А может, это и не туман, – сказал репортер. – Никто не знает, что это такое. Исследуют в лаборатории.

– Да еще ягуар, – сказал официант, который был знаком с репортером. – Не читали? В Колонии, в Серильос, в Эн-тре-Риос. Такой ягуарище, полсвета напугал. Просто кошмарный.

– Все звери семейства кошачьих – свирепы, – сказал Андрес. – А ягуар из семейства кошачьих.

– А ягуары свирепы? – спросила Клара.

– Ну да, – сказала Стелла. – Все звери из семейства кошачьих – свирепы.

Репортер со Стеллой говорили о мощах. Официант иногда отлучался к стойке или к другим столикам, а потом возвращался поговорить. Поскольку стол был большой, то за ним сидели —

Клара с Хуаном (но между ними еще стоял стул, на котором лежали кочан и Кларина папка) и Андрес, совсем близко к Хуану, занимая, таким образом, весь этот край,

а на другой стороне — Стелла болтала с репортером (да еще официант втиснулся между ними).

В зале стоял ровный, густой гул, который туман приносил снаружи, и он расплзался по залу и существовал сам по себе; это был не шум кафе, где ложечки отзванивали колокольчиками наподобие «Лакме» и официанты выкрикивали заказы: ШЕСТЬ СМЕШАННЫХ САНДВИЧЕЙ, ДВА САНЧОУСАМИ!

Андрес не был уверен, что они смогут поговорить с Хуаном так, чтобы Клара не слышала. Клара смотрела на здание Муниципалитета: пористая громада в тумане, красноватые фонари, балкон, а на нем — тени. А на одном балконе — густой туман и много теней.

— Мне кажется, ты его тоже видел, — сказал Андрес.

— Абея? Конечно, видел, — сказал Хуан. — Это был он, он.

— В Заведении ты мне сказал, что уже видел его сегодня.

А теперь он здесь — стоит задуматься.

— Ты же знаешь, он сумасшедший, — сказал Хуан. — Может быть, чистое совпадение.

– На Майской площади Абелю делать нечего, – сказал Андрес. – А если пришел, значит, шел за нами.

– Пускай его развлекается.

«А мне не нравится, что он развлекается за счет Клары», – хотел сказать Андрес.

– Я бы на твоём месте покончил с этим делом, – сказал Андрес.

«Она грустна», – подумал Андрес.

«А все туман, – думала Клара. – Приходим туманом, говорим туманом, но ведь это даже и не туман».

– Правда, что это не туман?

– Правда, – ответил репортер, оборачиваясь. – Никто не знает, что это такое. Наша газета занялась этим вопросом.

– Ничего, – сказал Хуан. – Он сумасшедший. Какое мне до него дело.

– Послушай, – сказал Андрес. – Горячие души более других открыты для гнева. Люди рождены неодинаковыми; они подобны четырем стихиям природы – огонь, вода, воздух и земля.

– Что это?

– Сенека. Прочитал сегодня утром. Но это относится и к Абелю.

– К Абелю? У Абеля, бедняжки, душа не горячая. Все его горение – внешнее, как одежда. Он может сбросить с себя горение, как галстук.

– Я в этом не очень уверен, – сказал Андрес. – Слежка,

преследование – такое занятие требует постоянства чувств.

– Или скуки.

– Еще хуже. В таком случае дело гораздо серьезнее.

– А может быть, – сказал Хуан, пристально глядя на Андреса, – может быть, Абель просто обучается на бойскаута. Проходит практику.

– Ладно, – Андрес пожал плечами. – Не хочешь говорить об этом, не надо.

«Хочу, – подумал Хуан, оборачиваясь, чтобы улыбнуться Кларе. – Мне бы хотелось поговорить об Абеле, вместе с Андресом защититься от Абеля».

– Все эти пумы, дикие кошки – очень вредные животные, – сказал официант, отходя от стола. Репортер кивнул с излишней готовностью, а у Стеллы мурашки побежали по коже при мысли о ягуаре.

– Я устала, – сказала Клара, потягиваясь. – Спать не хочется, я бы не заснула. Со мной никто не разговаривает, я сижу тут такая одинокая, словно персонаж Вирджинии Вулф, вокруг огня, разговоры, а я – как персонаж Вирджинии Вулф, ужасно усталая.

– Пошли домой, – забеспокоился Хуан. – Возьмем такси и Андреса со Стеллой подвезем. А репортера оставим газете.

– Я все равно не усну, накануне события наверняка будут сниться кошмары. Ты же знаешь, какие мне кошмары снятся. Модель А и Б. Модель А – специально для канунов. Мо-

дель Б для *lendemains*³⁰. – Она провела кончиками пальцев по лицу, словно нащупывая паутину. – Нет, Джонни, домой не пойдем. Мы встретим рассвет в городе, будем бродить и петь старые песни.

– Ты и вправду персонаж *Вирджинии Вулф*, – сказал репортер. – Меня в расчет не берите, я буду спать, как говорится, в фойе клуба.

(Il était trois petits enfants
Qui s'en allaient glaner aux champs
S'en vinrent un soir chez un boucher:
«Boucher voudrais-tu nous loger?» —
«Entrez, entrez, petits enfants.
Y'a de la place assurément».)³¹

– Выпей еще лимонного соку, – сказал *Хуан*. – Наберешься сил и едкости для своих статеек. Че, какую славную песенку ты напеваешь.

«Как она красива с закрытыми глазами», – подумал *Андрес*.

(Ils n'étaient pas sitôt entrés,
Que le boucher les a tués,
Les a coupés en petit morceaux,

³⁰ Следующего дня (*франц.*).

³¹ Три малыша, резвясь на воле, Пошли за колосками в поле. В дом мясника поздней порой Стучат: «Дай нам приют ночной». — «Зайдите, детки, знайте – тут Всегда найдете вы приют» (*франц.*).

– Клара, – сказала Стелла, дотрагиваясь до нее. – А говоришь, что не хочешь спать. Сумасшедшая женщина.

– Я не сплю, – сказала Клара. – Я просто вспоминала... Да, и песня тоже была будто в страшном сне. Какая страшная пора – детство, Стелла. Ты девочкой не испытывала страха, постоянного, непрекращающегося страха? А я испытывала, и он возвращается ко мне каждую ночь. Только эти образы из детства и остаются прочными и яркими. А может, это просто ощущение, что они были прочными и яркими. А все, что я вижу теперь, – как здание Муниципалитета, погляди на него, белесый сгусток в тумане.

– Очень хорошо говоришь, – одобрил Хуан.

– А может, это вовсе и не туман, – вздохнул Андрес. – Может, если продолжить мысль Клары, просто сгусток прожитых лет.

– Раньше у вещей был объем, они кончались, сверкали, – сказала Клара. – А теперь нам приходится довольствоваться знанием, что они есть, и пялиться на них, как обезьяны. Меня это до того бесит, что я приглушила все свои чувства и не даю им воли. Когда я на углу жду Хуана, один Бог знает, как сосет у меня внутри, и, прежде чем он появится, я два или три раза вижу его: вижу его лицо, походку, все. Сегодня со

³² Вошли – он сразу их схватилИ всех троих тотчас убил,Разрезал маленьких ребятИ засолил, как поросят...(франц.).

мною случилось то же самое.

– Он такой обычный, можно спутать с любым, – сказал Андрес.

– Не смейся, все это довольно грустно. Это – смазанная проекция мыслей, логический механизм. Однажды я ждала письма от мамы; почтальон всегда оставлял письма на стуле в гостиной. Я вошла в комнату и вижу: три письма. Еще в дверях я увидела верхнее письмо (мама всегда посылала письма в длинных конвертах), я увидела ее почерк, крупный, красивый. Увидела свое имя на конверте, первую букву, хорошо выписанную. И только когда взяла письмо в руки, увидела его: и конверт оказался не продолговатый, и почерк не мамин, и первая буква не К, а М.

– Желание – волшебный фонарь, – сказал Хуан. – Бедная Клара, как бы тебе хотелось упразднить посредников.

– Мне бы хотелось знать, кто я есть и кем была. И быть ею, а вовсе не той, за кого принимаешь меня ты, за кого принимаю себя я и все остальные.

– Со мной происходит то же самое, – сказал Хуан. – Почему, ты думаешь, я пишу стихи? Бывает такое состояние, такие моменты... Знаешь, перед тем, как проснуться, иногда возникают удивительные ощущения: кажется, например, будто ты, словно клин клином, разом выбьешь все препятствия. И когда просыпаешься (с тобою бывает такое, Андрес?), в тебе остается память об этом. И ты оглядываешься вокруг: рядом тумбочка, а на ней – часы, только и всего, а

поодаль – зеркало... Поэтому по утрам я бываю печален, во всяком случае до завтрака.

– Память о потерянном рае, – сказала Клара. – То, что ты рассказал, представляется мне смутным перепевом Платоновых идей. Быть может, в некоторых снах человек способен подступиться к Идеям.

– Хорошо бы, – сказал репортер. – Беда лишь, что сны битком набиты телефонами, лестницами, дурацкими полетами и преследованиями, совершенно не вдохновляющими.

– Знаешь, – сказал Андрес, – я иногда испытываю нечто похожее на то, о чем рассказывает Хуан, только я воспринимаю это не как отголосок сна, а гораздо хуже. Например, такое: утром я открываю глаза и вижу: встает солнце. И меня судорогой пронзает ужас, словно воспротивилось все мое существо – и тело, и душа (простите мне такое выражение). Я понял, что пережил ужас потери рая, ужаснулся тому, что нахожусь в подлунном мире. Солнце – каждый день, снова – солнце, солнце, нравится оно тебе или не нравится, солнце взойдет в шесть часов двадцать одну минуту, даже если Пикассо рисует «Гернику», даже если Элюар пишет «Capitale de la Douleur»³³, даже если Флагстад поет Брунгильду. Человечек – к солнцу. Солнце – к своим людишкам, и так – день за днем.

– Черт возьми, – сказал репортер. – Они рассуждают все сложнее и сложнее.

³³ «Град скорби» (франц.).

– Хватит, – сказала Стелла. – Может, пойдем отсюда?

Клара, разглядывавшая в окно витрину напротив, жестом выразила удивление.

– Конечно, пойдем, – сказал Андрес. – The night is young³⁴, как, наверное, поется в «London again».

– «London again» – музыка без слов, – сказал репортер обиженно. – По-моему, пора отваливать, че. Но я вижу китаяца, и, по правде говоря, мне хотелось бы задать ему вопрос.

– Он знаком с китайцем! – сказала Стелла и всерьез заломила руки.

– Он китаец в смысле мышления, – пояснил репортер. – Немного вроде Андреса, только у Андреса китайская диалектика, а у этого китаяца все формы поведения китайские.

Андрес смотрел на Клару, как она ищет в сумке то, чего там нет, делая вид, что страшно занята. Ему показалось, что Клара побледнела.

– Отдай десять монет, негр, бля, – закричал разносчик газет на углу. – Мать твою так-разэтак, бля, сукин сын, падло.

– Dixit, – возвестил репортер в полном восторге. – Какая скотина! Шесть дней в неделю он не слазит с матерщины.

– В этом мы тоже чемпионы, – сказал Хуан. – Сила сквернословия, должно быть, находится в обратно пропорциональной зависимости от силы народа.

– Не так это просто, – сказал Андрес. – Все дело в напря-

³⁴ Ночь юна (англ.).

жении. Ты, видно, хочешь сказать, что наше сквернословие – вялое, оно служит для заполнения жизненных пустот. Мы материмся просто так, чтобы подстегнуть себя, чтобы перекинуть мостик над тем, что вдруг разверзается под ногами и может поглотить нас. Матерщина дает нам запал преодолеть эту пропасть и еще какое-то время поддерживает нас до следующего раза. У Гюго, напротив, человек выпаливает ругательства, разряжаясь от напряжения, и они вылетают из него, как заряд из арбалета, когда Ватерлоо уже позади.

– На, на, возьми свои десять монет, – проверещал голосок. – Какой визг поднял.

– Я защищаю свои права, – сказал разносчик газет.

– Давайте я познакомлю вас с китайцем, – сказал репортер.

– А с другой стороны, мы испытываем гораздо большие напряжения, чем другие народы, – продолжал Андрес. – Жаль только, что они негативные – подавленные.

– Ну вот, старая песенка, – сказал репортер. – Скажи еще, что, если бы мы умели откладывать про запас, у нас бы не подводило животы, и тому подобное.

– Нет, это не то, психоаналитик ты наш из кафетерия. Просто я хотел сказать, что у нашего сквернословия две стороны: полная бесполезность с точки зрения рассудка, хотя оно и стимулирует нас, и крайняя необходимость ввиду трагической напряженности (прошу прощения), которая захлестывает нас. Другими словами, оно имеет право на суще-

ствование, по сути, это – трагедия, видишь, как это понятие ввиду его существенности превратилось у меня из прилагательного в существительное. Что есть трагедия? Грандиозная ошеломляющая брань, направленная против Зевса. Не думай, что и муки, терзающие мозг Эсхила, не имеют последствий. Паскаля, обратись он к Зевсу вместо Господа Бога, уверен, поразило бы громом.

– А туман все гуще, – сказал официант, принесший кофе для Клары. – Сколько машин столкнется. Вон тот сеньор, кажется, знает вас.

– Да, это Салавер, – сказал репортер. – Иди сюда, старик. Сейчас я вас познакомлю с китайцем, я хочу сказать, с Хуаном Салавером. Хуан, мой друг, сеньорита; сеньорита Стелла, тоже друг. Садись, Салавер, поговорим немножко, прежде чем разойдемся. Что ты подельываешь?

– Я – ничего, – сказал Салавер. – А вы что?

– Я? – спросил репортер. – Я пишу «Юдоли».

– А, – сказал Салавер, который обошел вокруг стола и теперь протягивал ему шершавую и довольно грязную руку. – Хорошо.

– Вы журналист? – спросила Стелла Салавера, остановившегося справа от нее.

– Да, точнее, хроникер, – сказал Салавер. – А сегодня как раз хожу собираю материал для заметки —

НА КРЕСТНОМ ПУТИ ЖЕЛАНИЙ

(у типа, который шел от улицы Иригойена и пел, наверное, были аденоиды; проходя мимо кафе, он запел во всю мочь)

*МГЛОЮ ЗАЛЬЕТ МНЕ ДУШУ,
ПОМЕРКНЕТ ЛАЗУРНОЕ НЕБО,
И СНА Я ЛИШУСЬ НАВЕКИ,
КОГДА ТЫ УЙДЕШЬ ОТ МЕНЯ.*

– Узнаю тебя, Общество аргентинских писателей, узнаю твой почерк, – сказал Хуан, ежась. – Но обрати внимание, – какая символика. Туман проникает этому типу в самую душу. Он называет его мглою, что поделаешь, не всем дано подняться до высокого уровня культуры.

– ...и религиозного восприятия, – сказал Салавер. Репортер смотрел на него ласково, задержавшись взглядом на лысине, на треугольных бачках, на его удлинённом лице. «Китаец, – подумал он, – потрясающий тип».

– Ладно, поговорим о Евгении Гранде, – улыбнулся репортер. – Когда ты отправляешься в Испанию?

– Если все будет хорошо, через пять квадратов, – сказал Салавер.

– Он хочет сказать, через пять месяцев, – перевел репортер. – Ну-ка, объясни сеньорам свою систему.

Салавер достал портмоне, из него – кошелечек для визитных карточек, а из кошелечка целлулоидный футлярчик, на

обороте которого была изображена *glamour girl*³⁵ в темных очках и реклама оптики Киршнера, а внутри – великолепный календарь из клеточек-дат на 1950 год. Год Освободителя генерала Сан-Мартина —

(именно тогда в Париже Иегуди Менухин исполнял сонаты Баха для скрипки без сопровождения, а в Падуе находился Эдвин Фишер,

и Арлетти представляла «Трамвай “Желание”» (в Париже), а в Барракасе умирала сеньора Энкарнасьон Робледо де Муньос.

И кто-то в гостинице плакал, закрыв лицо руками, думая о сонате для скрипки Прокофьева,

и какой-нибудь надсмотрщик из Чивилкоя, остановив машину возле кондитерской «Галарсе и Треза», приказывал ба траку: «Ну-ка, Синяя Птица, слетай купи сладостей!» А в Монреале шел мелкий дождь).

– Пять квадратов, – сказал Салавер и положил календарь временем кверху между двумя тарелками с жареными овощами.

– А, – сказала рассеянно Клара, – понятно.

– Действительно, понять довольно легко, – подтвердил Салавер. – Вы знаете, что моя тетушка Ольга живет в Малаге. Я желаю встретиться с тетушкой Ольгой с целью конкретизировать мои планы относительно окончательного переселения на полуостров.

³⁵ Шикарная девица (англ.).

«Рассказывает по пятому разу», – подумал Андрес, и ему вспомнились слова Мурены, с которым он не был знаком, но кто был его товарищем по одиночеству и антагонистом по двадцати разным пунктам, однако союзником по многим другим:

«Содействуя – посредством извращения слова – тому, чтобы человек превратился в ничего не уважающего циркового зрителя, пресса...»

«Но китаец не похож на человека, ничего не уважающего, – подумал Андрес. – Он, бедняга, просто дурак».

– Вследствие этого, – сказал Салавер, – я привел в порядок этот беспорядок и полагаю, что в пятый квадрат как раз попадает Малага. Справа внизу.

– Между двадцать пятым и тридцатым августа, – сказал репортер, разглядывая квадратики, заполненные красными и черными цифрами.

– Но у меня нет уверенности, потому что контрслучай способен на самое худшее.

– Объясни нам про контрслучай.

– Все на свете – дело случая, – сказал Салавер. – Все. Философы этому учат, об этом написано во многих книгах. А значит, надо идти наперекор случаю, и я изобрел контрслучай – особый способ жить. Вот здесь все объяснено. Все мы живем в квадратах. И потому сначала надо сформировать суперслучай, чтобы естественный случай при входе в квадрат столкнулся с препятствием. Мой метод таков: каждое утро,

глядя в потолок, я прокалываю булавкой мой квадрат и смотрю: если булавка попала на уже прожитые дни, то не считается и надо колоть снова. Когда же булавка попадает на тот период времени, к которому мы подходим, я смотрю на условный знак, обозначающий длину светового дня в этой части земли. А потом думаю. Воды́.

– Держи. – Репортер подал ему сок.

– Теперь надо создать второй суперслучай, а это самое тонкое дело. Если, например, проколешь день, до которого остается, скажем, две недели, то принимаешься думать, как будешь жить этот кусок квадрата. Сначала обдумываешь физические обстоятельства: будет ли дождь, сильным или слабым будет ветер, придется ли тебе писать заметку относительно горючих материалов, которые самовозгорятся в городе под названием Буэнос-Айрес, или человек, облеченный полномочиями секретаря редакции, велит тебе подготовить справку по вопросу о рождаемости. Предположим, все это должно произойти. Ты предполагаешь эти обстоятельства. Это и есть суперслучай. И тогда, – Салавер выпрямился, – тогда ты подготавливаешь контрслучай. Я говорил о дожде и ветре; так вот, когда наступает указанный день, ты выходишь из дому в светлом костюме независимо от того, идет дождь или нет; я говорил о пожаре: в этот день ты приходишь в редакцию и пишешь о Бетховене, даже если горит Троя или Альбион-Хауз. Не важно, были или не были пожары. Заказали тебе или не заказали материал о рождаемости.

Ты предусмотрел суперслучай и уничтожил его при помощи контрслучая.

– Ясно, – сказал Хуан в полном восторге.

– Разве я не говорил, что это грандиозно? – сказал репортер, до того не проронивший ни слова.

– По-моему, здорово, – сказал Андрес. – Значит, вы сможете отправиться в Малагу?

– Вполне вероятно, – сказал Салавер. – Пятый квадрат внизу справа, довольно-таки просто.

– Ах, так?

– Суда отходят в определенные дни, – сказал Салавер. – В этом преимущество: случай тут преодолевается грубо практически, надо просто подняться на судно, другими словами, не остаться на берегу. А против всего остального будет действовать суперслучай, подкрепленный контрслучаем.

– Вам бы, – сказала Клара тусклым тоном, – следовало зваться Саласаром³⁶.

– В моем имени тоже содержится знак, имеющий ко мне прямое отношение, – сказал Салавер³⁷. – Я – Опередивший Свое Время, и судьба велит мне смотреть, что ждет впереди.

– Очень интересно, – сказала Стелла, погруженная в календарь. – Так мы идем или нет?

– Идем, идем, здесь жарко.

– Всего хорошего, – сказал Салавер и быстро поднялся. –

³⁶ Al azar – по воле случая (*исп.*).

³⁷ Концовка фамилии Салавер – глагол «смотреть» (*ver*).

Мне было чрезвычайно приятно.

– Всего хорошего, – ответили ему все.

А В ВИТРИНЕ ОТРАЖАЛСЯ АБЕЛЬ.

– Пусть репортер платит за всех в наказание за квадраты и тетушку Ольгу, – сказал Хуан. – Допускаю, что он вполне китаец, если ты имеешь в виду то же самое, что и я.

– Расплачиваемся по-английски, – сказала Клара и положила на стол два песо. «Или я сошла с ума, или это опять Абелито. Только бы Хуан его не видел, только бы Хуан —»

– Пошел прочь! – закричал официант, пинком выбрасывая иссиня-черного песика, подбиравшегося к огрызку на полу. Потом отсчитал сдачу и сердечно попрощался, до крайности довольный тем, как ему удался пинок и как визжала собака.

Женщины вышли первыми, репортер еще прощался с официантом, а рука Андреса тихонько прикоснулась к плечу Хуана, шедшего впереди.

– Да, я его тоже видел, – сказал Хуан, не оборачиваясь. – Что поделаешь, он такой. Поразительно одно: как он улетучивается в мгновение ока, словно дым.

Андрес подождал репортера.

– Как дым – над этим следует подумать, – сказал он. – А ведь именно дым замечают прежде всего. Ты можешь прославиться: предложи через свою газету, чтобы благодарные пожарные воздвигли статую в честь дыма.

– Обязательно предложу, – сказал репортер. – А статую

можно заказать Тройяни. Ну, ребята, туман совсем сгустился. Ничего себе ночку выбрали для прогулки. Одни мы... Ну да ладно, нужно проводить наших экзаменующихся.

Две колонны женщин шли в направлении Майского проспекта. Шли стройными рядами в сопровождении молодых людей с факелами и электрическими фонарями. В тумане процессия походила на гусеницу из японского сада, которая ползла, медленно подтягивая туловище. Кто-то вдруг закричал, и Хуан вспомнил —

– но Абель, этот болван, опять тут, —

сирены машин «скорой помощи», мчавшихся по улице Леандро Н. Алама. Он переложил сверток с кочаном под левую руку и крепче прижал к себе Клару.

– Ну, как ты, старушка?

– В порядке, все вижу и слышу, все понимаю и немного грущу.

– Клара, – сказал Хуан тихо.

– Да, я видела. А почему ты беспокоишься?

– Я не беспокоюсь. Просто мне это кажется абсурдным.

Андрес тоже видел его.

– Бедный Андрес, – сказала Клара.

– Почему Андрес бедный?

– Потому что ему видятся призраки.

– А мы с тобой?

– И мы – тоже, – сказала Клара. – Но Абель живой, а не призрак.

Ей вдруг страшно захотелось плакать. Хорошо бы достался четвертый билет.

Репортер купил газету, и они пошли по улице Боливара к Алсине. Моросил теплый мелкий дождичек.

– Замечательно, – сказал репортер. – Депутаты утвердили проект защиты диких животных.

Когда подходили к проспекту Колумба, скользя на пока- том спуске улицы Алсина, Андрес выпустил Стеллину руку, – та всегда заставляла его вести ее под руку, – и чуть отстал, прислушиваясь к резкому голосу репортера и вспыль- чивым репликам Хуана; он смотрел, как Хуан ведет Клару – будто ее хотят у него отнять. Хуан выглядел нелепо: при- жимал к себе сверток и Клару и что-то выкрикивал в ответ репортеру, да еще останавливался время от времени, поджи- дая Стеллу и оглядываясь на нее, словно за поддержкой.

– Как я устал, – сказал Андрес. – Ну и ночь.

Свет фонарей падал с высоты, высвечивая щиколотки Клары, ее стремительную поступь. К утру, наверное, пойдет тонкий, горячий дождь, который всегда наводит уныние. «Я в это не верю!» – выкрикнул Хуан, останавливаясь на углу. Свет омывал волосы Клары и половину лица; Андрес оста- новился и смотрел на нее; он увидел, как репортер, знака- ми попросив подождать его, побежал на противоположную сторону улицы. Стелла и Клара разговаривали с Хуаном и совсем позабыли об Андресе, стоявшем в тени. «Я – свиде-

тель, – подумал он. – Свидетельствующий... О чем я могу свидетельствовать, кроме как о себе самом, да и то...»

Из подъезда вышла женщина и тихонько свистнула. Высокая худая жгучая блондинка в черном платье, обтягивающем груди. Она остановилась в тени и снова свистнула, глядя на Андреса.

– Простите, что я не виляю хвостом, как воспитанный пес, – сказал Андрес, – но я не люблю, когда мне свистят.

– Пошли, – сказала женщина. – Пошли со мной, красавчик.

Андрес указал ей на группу на углу, на обернувшуюся Стеллу. Репортер уже возвращался с пакетом в руке.

– А, – проговорила женщина, сникая. – Так бы и сказал.

– Что поделаешь. Ты всегда тут?

– Иногда. Можешь найти меня в час в «Афмуне».

– Заметано, – сказал Андрес и помахал ей рукой на прощание. Он видел, как она снова отступила в глубину подъезда, как сразу стали темными ее волосы. «Кто его знает, – подумал он. – Может, лучше напиться с этой бедняжкой, чем...»

– Винцо первосортное! – кричал репортер. – Пришла пора для эутрапелии, старик, час ночи. Andiamo a fare una festicciola³⁸ на площади Колумба, и пусть полиция questa sera³⁹ будет слепа и нема.

³⁸ Пойдем кутнем (*итал.*).

³⁹ В этот вечер (*итал.*).

– Андрес! – крикнула Стелла, глядя, как он медленно подходит к ним, опустив руки в карманы. – Одинокий крысеныш, иди сюда, к своей кошечке.

– Кисеныш, – сказал Андрес, – ты – ангел, удерживающий меня от искушений.

– Ах так, значит, правда, – сказала Стелла. – Кларе показалось, что ты разговариваешь с... – Она вдруг замолчала, смутившись. «Зря я помянула Клару», – подумала она, но мысли этой не высказала, потому что

Андрес, котенок,
блондинка, винцо и *festicciola*⁴⁰, проститутка, голос Клары,

голос такой, будто она сердится, однако глупый, котенок, котик-обормотик, все-таки я —

имею ПРАВО,

руки, такие тонкие,

он никогда,

а как он пахнет, какой он жаркий

в любви, о, какое блаженство.

– Чмок, – сказал Андрес, наклоняясь к ней всем телом (как наклоняются, когда руки – в карманах, наклоняются словно на шарнирах), и звонко чмокнул ее в волосы. «Кларе показалось... – подумал он, испытывая смущение и счастье. – Она видела, что я разговаривал с этой женщиной». Клара шла и слушала тишину, наполнявшую все ее суще-

⁴⁰ Вечеринка (*итал.*).

ство, этот бархат, что трепещет на самом дне ушей; слушала, как ночь в ее теле сопротивлялась вторжению улицы с ее шумами и огнями. Рядом с ней разговаривали, слова проходили сквозь ее волосы, сквозь уши, сквозь кожу. «Deep river, – подумала она, – my soul is the Jordan»⁴¹. И приходили нелепые желания – остаться одной, оказаться в объятиях Хуана, слушать Мариан Андерсон, читать о приключениях Пуаро, статью Сесара Бруто, выпить воды с лимоном, увидеть прекрасный сон, какие снятся рано утром, когда внутренним взором видишь, что уже шесть часов, но так сладко потянуться, вытянуть ноги, прижаться к теплой, плотной спине и позволить себе снова опуститься в глубину и —

хищный стервятник,

зато – кольцо и жестокая принцесса,

а потом – водоворот, да, баллада —

– Ты грустная, – сказал Андрес.

Они шли по проспекту Колумба, и ключья тумана то и дело окутывали их, а мимо проходили люди и машины, такие им чужие и чуждые.

– Нет, просто ночь существует для того, чтобы думать, – ответила она чуть насмешливо.

– В таком случае прошу прощения, – сказал Андрес. Она коснулась кончиком пальца его руки.

– Я не тебя имела в виду. Говори, ты же знаешь, что...

– Да, да. Но это еще не значит...

⁴¹ Глубокая река, моя душа – Иордан (англ.).

– Что не значит?

– Что ты на самом деле хочешь, чтобы я говорил.

– Не глупи. Ах, какой ты обидчивый. Хуан, Андрес на меня обиделся.

– Жаль, – сказал Хуан, догоняя их. – Обиды Андреса благородны, потому что они, как правило, метафизические. Когда сосредоточиваешься на объекте, эффективность падает. *Aquila non capit, et cetera*⁴².

– Отвратительно, – сказала Клара. – Ты относишься ко мне как к мошке.

– Накануне экзамена тебе бы следовало вспомнить, что в устах Гомера это звучало бы почти хвалой. А у Лукиана, дорогая? Я люблю мошек, так грустно видеть, когда они с приходом зимы начинают умирать на оконных стеклах, на занавесках. Мошки – камерная музыка фауны. Ты и на самом деле псиная мошка инвективы. Псиная мошка, потрясающе! – И, сжимая кочан, захохотал как сумасшедший — (только сумасшедший мог бы так смеяться, а он не сумасшедший).

А разносчик газет на углу Иполито Иригойена смотрел, смотрел на него и тоже начал смеяться, сперва тихо, словно не желая.

– Псиная мошка! Собачья блоха! – завывал Хуан и сгибался в три погибели от хохота. – Потрясающе!

⁴² Орел не ловит, и так далее – часть латинского выражения *Aquila non capit muscas* – Орел не ловит мух.

– Что же с ним будет, когда он хлебнет старого трапиче, – сказал репортер, испытывая неловкость. – Че, перестань, пошли, хватит ребячиться.

Андрес, ушедший на несколько шагов вперед, обернулся. Туман мешал разглядеть их. Он вспомнил мальчонку на Майской площади и жаждущие ритуального зрелища ненасытные лица присутствующих. «Не за тем ли и он пошел туда?» – подумал Андрес. Очень может быть, у него самого белое лицо, как у тех, кто идет следом за ужасом. Он провел ладонью по влажному лицу.

– Пойдемте на прекрасную площадь Христофора, – распорядился репортер. – Стеллита, вашу руку. Да, это старое вино, трапиче, надо вернуться к простым ритуалам, к эутрапелии.

Высокий призрак вынырнул из тумана спиной к ним, вокруг его ног суетились неясные тени, хлопотливые фигуры, проступил крест. «Еще один стоит спиной ко всему, – подумала Клара. – Еще один созерцает воды ностальгии, бесполезную тропу бегства». Пес обнюхал Кларину юбку и уставился на нее ласково и преданно. Она почесала его щетинистую шею; он был мокрый, как Томас, —

Томас, ее медвежонок,
она оставляла его на улице, под открытым небом,
а утром, когда вставало солнце:

«Клара, Клара, что за девочка! Разве для этого тебе дарят игрушки!»

Какой ужас, как стыдно, Томас замерз,

Томас намок, бедный мой Томас, промок, бедняжка, всю ночь один, а вокруг домовые и мохнатые совы, прости, прости, Томас, я никогда больше не буду так делать —

– Военное министерство – как будто из картона, – сказала Стелла.

– Тонкое наблюдение, – сказал репортер. И все равно было странно обнаружить, что Андрес так непрост, оказывается, он любит тишину, а это так некстати в Буэнос-Айресе, и немного рисуется, то и дело отставая от других на несколько шагов —

а женщина была блондинкой; вышла из подъезда неожиданно, как в кино, —

или уходит вперед, а потом с видом статуи поджидает остальных. «Он как будто чего-то ждет от меня, – подумала Клара. – Как будто я ему что-то должна».

– А она подошла и положила на ладонь муравья, – рассказывала Стелла репортеру. – Ужасно. Никогда не знаешь, что она натворит. Такая озорница.

– Дети, – сказал репортер, – трагичны.

– Ой, они такие славные!

– Кошмарные, – сказал репортер. – Мерзкие дикари. Вы любите их кожей, ваш нос, ваш язык любят их. Но если вдумаетесь...

– Все мужчины одинаковые, – сказала Стелла. – А потом у них появляется ребенок, и они распускают слюни.

– Я не распущу слюни, даже лежа щекою на животе Гейл Рассел, – сказал репортер. – Че, надо сесть на хорошую скамейку и одурманить себя как следует, созерцая Колумба и звездное коловращение.

– Вы гораздо более чувствительны, чем кажетесь, – сказала Стелла, проявляя интерес. – Насмешничаете, а сами добрый.

– Я просто ангел, – сказал репортер. – А потому не боюсь, что от меня будут дети. Что с тобою, Хуан?

Но Хуан смотрел куда-то вдаль, на деревья, терявшиеся в тумане. Потом достал платок и швырнул его на скамейку — как Дарио – в море, —

и Клара села, вздохнув с облегчением, справа от нее сел Андрес, и Клара подвинулась, давая место Хуану; Стелла села на самый край, а репортер – между нею и Хуаном. И тогда Андрес поднялся со скамьи, а за ним и Хуан, по-прежнему не отрывая глаз от деревьев.

– Че, отдохните немножко, – говорил репортер. – Мы находимся на самой красивой, самой центральной, самой шикарной площади Буэнос-Айреса. Никто сюда не ходит, только влюбленные и министерские служащие. Однажды ночью я видел тут негра – он целовал мальчика лет четырнадцати. Мальчик слабо сопротивлялся, ему было стыдно – он видел, что я наблюдаю за ними.

– А зачем ты это делал? – спросил Хуан. – Ведь в твоих репортажах любовью не пахнет.

– Что вы такое говорите, – запричитала Стелла. – Негр целовал мальчика, какая гадость.

– Не скажите, в этом что-то было, – возразил репортер. – Некая статуарность в позе, на площади это хорошо смотрится. Ну-ка, Хуан, дай твой знаменитый штопор.

– Я больше не ношу его с собой. А если и у тебя нет, то плохо дело.

Но у репортера был, просто он стеснялся вынимать огромный перочинный нож с рукояткой из пожелтевшей кости и семью лезвиями из фирменной золингеновской стали.

– Придется пить из горла. Сначала – дамы, и не забудьте чокнуться с Колумбом, задрапированным в туман. Стелла, не жеманьтесь, берите пример с Клары, она, сразу видно, из племени пьющих.

– Выпьешь, и туман не будет к тебе липнуть, – сказала Клара, передавая бутылку Стелле. – По правде говоря, надо было купить белого вина.

– Белого у них не бывает, – ответил репортер. – Как говорится, совершенно не их профиль. Это все равно что просить Чарли Паркера сыграть мазурку. Ну, а теперь ты, Хуанито. Да что ты застыл, как часовой? Кто там, Хуан?

– Я бы сам хотел это знать, – сказал Хуан, завладевая бутылкой. – Думаю, и Андрес не прочь бы узнать. Ты что-нибудь видел, Андрес?

– Не знаю. Такой туман. По-моему, да.

Клара остановилась и глядела в сторону клуба автомо-

билистов, проследив взглядом все изгибы не прямой улицы, огоньки автобусов «А» и «С», застывших на остановке.

– Совсем как начало «Гамлета», – сказал репортер. – Или «Макбета»?

– Пускай их, – сказала Стелла. – Они все трое обожают сочинять романы. Что это у вас на лице прилипло? Позвольте, я сниму.

– Это пушинка, – сказал репортер в некотором удивлении. – Странное дело: у меня на лице – пушинка.

– Ветер, – пояснила Стелла. – И влажность, вот она и прилипла к носу.

Две женщины с мальчиком шли по площади и остановились, чтобы мальчик пописал на газон. В тишине площади слышно было, как струйка упала на гравий.

– Так всегда, – сказала одна из женщин. – Сколько времени сидели у тебя, и ему в голову не пришло пописать, а только вышли – сразу приспичило.

– Ничего страшного, если только это, – сказала другая.

– Вот и имей детишек, – сказал репортер, забавляясь от всей души.

– А что такого? Что особенного? Слышишь, Клара? Представляешь?

– Нет, я замечталась, – сказала Клара. – Андрес, что мы так нервничаем? Можно подумать, он собирается нас съесть.

– Кто? – спросил репортер.

– Никто, Абель, – сказала Клара. – Один парень.

Андрес устало сел на скамейку.

– Ну, раз уж мы его назвали, давайте поговорим, – сказал он. – Третий раз я его вижу сегодня.

– И я два раза, – сказали Клара и Хуан одновременно.

– А может, нам показалось. Туман...

– Это не туман, – сказал репортер. – Я уже устал повторять. Но вы что-то скрываете. Что за история с этим Абелем?

– Ничего не скрываем, – сказал Хуан, отдавая ему бутылку. – С этим парнем что-то не в порядке последнее время.

– Абелито немного странный, – сказала Стелла. – Но чтобы три раза за ночь... Он же не преследует нас.

– Блестящая мысль, – захолопал в ладоши Андрес.

– Перестань.

– Хорошо. Я перестану. Скамейка мокрая.

– Пошли домой, – сказал Хуан Кларе на ухо, но не понижая голоса.

– Нет, нет. Ты что, нервничаешь?

– Нет, я не поэтому. Просто боюсь, как бы ты не заболела, такая ночь. А завтра надо быть в порядке.

– Завтра никогда не бывает в порядке, – сказал репортер. – У меня такие ловкие фразочки здорово получаются, видели бы вы, как они нравятся нашему Диреку. Он называет меня афористом.

– Аферистом, – сказал Андрес. – Кто говорит «завтра»? Завтра – вот оно, эта мучнистая липкость, что наваливается на нас, и есть завтра.

– Ну и ну.

АБЕЛЬ. БЕАЛЬ. ЛЬЕБА. АБЬЕЛ. ЛЬАБЕ.

ЕЛЬАБ. БЬЕАЛ. АЛЬБЕ. АЛЬЕБ. ЕЛЬБА.

– В воздухе полно пуха, – сказала вдруг Стелла. – Я проглотила пушинку.

– Это не пух, а слова, произнесенные людьми, туман их подхватывает и носит, – сказал Хуан. – В такую ночь...

*Такая ночь нам
красит жизнь,
в такую ночь
забудет сердце
свои сомненья и раздоры,
и звездный свет сияет в выси,
как свет лампад у алтаря,
и полная луна,
непешно встав
над гладью моря,
к нему несет свои моленья.*

– Спорю на десять монет, что не назовете автора.

– Кто-то из испанских романтиков, – сказал Андрес. – Такая ночь – превосходный материал для децим.

– Разумеется. Я заклинал стихами ночь. *Здравствуйте, звезды, здравствуй, Беласель, сладкий, как сахар, свей лианы в косу, пусть нас не жальят осы!* Я знаю много заклятий. Уйму.

БЕАЛЬ ЛЬЕБА ЕЛЬАБ

АЛЬБЕ ЛЬАБЕ

– Кампоамор, – сказал Андрес.

– Нет.

– Герцог де Ривас.

– Габриэль-и-Галан, – сказал репортер.

– Нет. Кто еще? Нуньес де Арсе.

СЕРА АРЕС РЕСА

САРЕ АСЕР РАСЕ

– Ладно, – сказал Андрес. – Ты подобрал хороший пример.

Пройдя перекресток улиц Леонардо Алема и Митре, Абель свернул в боковую улочку, зашел в подъезд и закурил сигарету. Почему-то (может, из-за разницы температур или еще почему-то) в этом закоулке не было тумана. Возвращавшиеся с Майской площади шли по улочке, словно по световому туннелю, потому что яркие фонари тут стояли через каждые восемь метров (после покушения на Кардинала-примаса, произошедшего как раз напротив книжной лавки «Знания»).

Закурить сигарету для Абеля всегда было делом кропотливым и долгим.

БЕЛЬА АЛЬБЕ

– У Марии-Андреа корзинки,

корзинки, одни корзинки,

– пропел негритенок – разносчик газет.

Абель порылся в кармане жилета, потом в правом наружном. Нужна была почтовая марка. Аккуратно достал какую-то бумажку, оглядел ее. Розовый автобусный билетик. Может быть, в другом кармане.

*– В ночь, когда мы поженились,
я не спал ни минутки...*

БАЛЬЕ

– Мы уже больше двух часов не говорим о литературе. Невероятно, – сказал Хуан, опрокидывая вверх дном пустую бутылку. – Погасим фонарь?

– Настоящий портеньо, – сказал Андрес. – Гаси, не оставляй неудовлетворенных желаний.

Но Хуан, устыдившись, сунул бутылку под скамью.

– Хорошо здесь, – сказала Стелла. – Не так жарко, как на площади.

– Воспользуемся случаем и проведем опрос, – сказал репортер. – Какое образование получил ты, Андрес? Не злись, че, я журналист как-никак, nihil humani a me alienum puto⁴³. Заметил, как смехотворно выглядит человек, употребляю-

⁴³ Ничто человеческое мне не чуждо (*лат.*).

щий латинские цитаты?

– И всякие иные. А потому лучший способ – цитировать на своем родном языке, но не говорить, что это цитата. Именно это я проделываю сейчас.

– Ты – потрясающий, – сказал репортер. – Но серьезно. Я бы хотел обойти всех и спросить: «Какое образование вы получили? Что вы читали в десять лет? Какие фильмы смотрели в пятнадцать?»

– Только и всего? – сказал Хуан насмешливо. – Только об изящных, до невозможности изящных искусствах и литературной чепухе?

– Дай репортеру сказать, – проговорила Клара. – Это великий час, мы на великой площади, в великом тумане – самое время и место говорить о таких вещах.

– Я думаю, можно много узнать об Аргентине, исследуя эволюцию нашего поколения. Прокру от этого нет, но знаешь, старик, все-таки статистика... Какая наука! – воодушевился репортер. – Сперва допытываются, сколько собак было раздавлено за пять лет и сколько рек выходит из берегов в Судане.

– В Судане нет рек, – сказал Хуан.

– Я имел в виду Трансвааль. Потом сопоставляют результаты и на основании полученного выводят закон о рождаемости в семьях певцов итальянской школы.

– Статистика, имейте в виду, – это демократия в ее научной ипостаси, определение сути в расчете на душу население.

ния.

– Как плетешь, – захохотал Андрес.

Клара слышала, как он смеется, и удивилась своему удивлению. «Как странно, – подумала она. – Он хороший, пусть посмеется». Она тихонько дотронулась до его колена, он посмотрел на нее.

– Репортер хочет знать, где ты черпал культуру. Ты будешь его первым подопытным кроликом.

– Вторым, – сказал репортер. – Первый – я сам. Статистик должен жертвовать собою в интересах науки и первым заполнять анкету для истории.

– У меня было дурацкое детство, – сказал Хуан. – Говори ты первым, Андрес.

– Я не люблю говорить о своем детстве, – сказал Андрес угрюмо, и Клара вдруг почувствовала во рту отчетливый вкус чего-то нежного, отдававшего плодами рожкового дерева, ощутила сладкую слюну лета.

– Детство —

лучше не говорить о нем, лучше не трогать его,
пусть остается в темном уголке памяти, в своей клеточке,
лучше его не предавать —

Укромный уголок, арбузы, шепот на ушко,
сиеста,

улитка, улитка, высуну рога.

Боженька, Боженька, запахи,

карнавал, считалочки —

Я буду тармангани, а ты гомангани, ой, хватит —

– ...Итак, вперед. Я только хочу знать, как ты из него выскочил. Когда распрощался с отрочеством, с порою изгрызенных ногтей и повышенного интереса к физиологическим отправлениям.

– Дорогой репортер, ты, я вижу, заинтересовался не на шутку, – сказал Андрес. – Ну что ж, я, пожалуй, помогу тебе. Итак, я не был скороспелкой, однако отважно принялся писать о вещах, о которых сейчас не отважился бы говорить. Интересно, что я писал языком фальшивым, ханжеским, без единого непристойного словечка. Персонажи говорили правильно, как в книжках, а действие всегда происходило anywhere, out of Buenos Aires⁴⁴. Уму непостижимо, до чего я тяготел к глобальному и приходил в ужас от одной мысли написать что-нибудь конкретное об окружающей жизни; я старался, чтобы мои стихи – да, Хуанчо, именно тогда я разразился жестокими сонетами – и мои рассказы были одинаково понятны как в Упсале, так и в Сарате. Язык был дурацкий, однако то, что я пытался с его помощью выразить, обладало большей силой, чем то, что я пишу сейчас.

– Ты глубоко ошибаешься, – сказал Хуан. – Но продолжай, посмотрим, какой путь ты прошел.

Андрес сидел, опершись затылком на спинку скамейки, и курил.

– Иногда, – продолжал он, – хлесткий детерминизм бьет

⁴⁴ Где-то, не в Буэнос-Айресе (англ.).

по струнам и рикошетом в кровь разбивает тебе лицо. Например, я до двадцати пяти лет испытывал подлинное творческое горение. Нельзя сказать, что я писал много по объему; но я без конца отработывал, тщательно отделявал свои вещи. И все равно я тогда писал больше, чем за всю дальнейшую жизнь, и теперь, перечитывая, вижу, что шел правильным путем. Я лез во все, перевел понапрасну горы бумаги, но сегодня мне бы не хватило духу сказать некоторые вещи или таланта, чтобы написать хотя бы один сонет, подобный тем. Мне просто нравилось писать, я получал наслаждение. Сладостное мучение, похожее на то, когда чешешь место, которое чешется, расчесываешь до крови, но получаешь удовольствие.

– И почему же источник иссяк? – спросил репортер.

– Влияния и предрассудки под личиною опыта сгубили его. Плохо, что они были необходимы и выглядели благими. Но в конечном счете благо, что они подействовали на меня плохо. Это нелегко объяснить, но я попробую. У меня было двое друзей, которые меня очень любили и, наверное, поэтому почти никогда не хвалили моих вещей, а, наоборот, сурово и самоотверженно критиковали их. Я никогда не ждал от них восторженных оценок. Они отмечали все погрешности моего пера, указывали на все ненужное и считали, что мой долг – исправлять. И это вынудило меня – из верности нашей дружбе и благодарности – повернуть кран, оставить лишь тонкую струйку. Несколько дней и ночей я перелопатил

чивал написанное, чистил, вылизывал и перетряхивал, пока не начинало вытанцовываться то, что можно было оставить. Да еще чтение: именно в ту пору я первый раз прочитал Кокто, мне было девятнадцать лет, и я просто бредил «Опиумом». «Opium». Сейчас я произношу название по-французски, но тогда это мне было не по карману, я достал дешевенькое испанское издание. Ты не представляешь, чем был Кокто для меня. После «Илиады», моего первого рывка к абсолюту, вдруг погрузился в Кокто. Просто невероятно, я неделями не причесывался, дошел до того, что сестра и мать стали называть меня идиотом, я забивался в кафе и проводил там долгие часы – нейтральная обстановка способствовала одиночеству. Каждая фраза Жана точно стеклянным острием пронзала мозг. Все – по сравнению с этим – казалось мне жидким дерьмом. И представь, старик, всего за два года до этого я читал Элинон Глин. И мог плакать над Пьером Лоти, чтоб пусто было его японской душе. И вдруг я натыкаюсь на эту книгу, итог целой жизни, но жизни, которая не чета твоей, жизни девятнадцатилетнего мускулистого портеньо. Я погружаюсь во все это с головой и открываю рисунок, да, еще и это: я открыл пластику в рисунках, их крайнюю наивность, самую прекрасную; теперь-то я знаю, они недостойны такого изумления, однако эти геометрически простые букашки, эти матросы, эти опиумные безумства, знаешь, я ночи напролет разглядывал, изучал и разглядывал, просто не отрывался от них – рачки, рачки, рачки, какое-то безумие.

– Черт возьми, – сказал репортер.

– Такая она, эта книга. На первый взгляд она трудна и сложна для понимания даже не тем, что там говорится, а тем, что подразумевается; об этом я не имел тогда даже отдаленного представления. Рильке, Виктор Гюго, серьезный Гюго, Малларме, Пруст, «Броненосец “Потемкин”», Чаплин, Блез Сандрар, и я открыл, сам того не сознавая, насколько все это серьезно. И стал бояться писать; я стал выбрасывать бумажки, на которых нацарапывал что-нибудь на площади Сан-Мартина или в «Ла-Перла» на Онсе. Эта книга и двое моих друзей прямым ходом отсылали меня к Малларме, я хочу сказать, к тому, что делал сам Малларме. Но меня иссушали, с одной стороны, неверие в себя, а с другой – страстное желание прикоснуться к абсолюту. Я стал писать герметические стихи, такие, что, наверное, не найдется и четырех человек, которые бы одолели даже первые строки. Я начал придавать исключительное значение обстоятельствам: писать только тогда, когда имелся совершенно необходимый повод. Так я написал плач на смерть Д’Аннунцио, которого безумно любил, написал, чтобы, как говорится, клин клином, и еще потому, что с ним, по сути, происходило то же самое, разве что он писал очень мало, но многими словами.

– А потом?

Но Андрес сидел с закрытыми глазами и, казалось, заснул.

– Потом я стал писать хорошо, – сказал Хуан, прикоснувшись пальцем ко лбу Андреса. – Смотри, на нем, как и на

нас всех, – лунный свет. Он – здесь, а свет идет к нему из дальнего далека. Кокто... Мой свет иногда зовется Новалис, а иногда – Джон Китс. Мой свет – это Арденнский лес, сонет сэра Филипа Сидни, сюита для клавесина Пёрселла, картина Брака.

– И я, – сказала Клара, неприлично потягиваясь.

– И ты, мышонок. Ах, репортер, только провинциалы, и то иногда, лишь иногда, способны создавать автономную культуру. Обрати внимание, я не говорю: автохтонную, потому что... Но, во всяком случае, со значительным местным колоритом. И правильно делают, как ты считаешь, репортер, правильно они делают?

– Ты себе противоречишь, – возразил репортер. – Можно специализироваться и на местном колорите, однако культура по самой сути своей экуменична. Должен ли я пояснить свои слова? Только на втором этапе можно оценить собственное своеобразие. Я понимаю Роберто Пайро постольку, поскольку я прочитал моего Мериме и мою «Бесплодную землю». Останавливаться на сиюминутном и полагать, что оно самодостаточно, свойственно моллюскам и дамам, прошу прощения у присутствующих здесь дам.

– Это так грустно, репортер, – сказал Хуан, вздохнув. – Так грустно чувствовать себя паразитом. Молодой англичанин определенного толка есть сонет Сидни или рассуждения Порции. А какой-нибудь sockney⁴⁵ – это твой «London

⁴⁵ Кокни – пренебрежительное прозвище лондонцев невысокого происхожде-

again». А я, притом что так люблю и знаю первых, я – всего лишь тонкая стопочка стихов и прозы, я – всего лишь погоня и ловля, лишь закованный в кожу гаучо.

– По-моему, это мелочные жалобы, – сказала Клара, выпрямляясь. – И не к лицу человеку, который всерьез, как ты, занимается настоящей, интересной поэзией.

– Если взглянуть трезво, – сказал Хуан, – мало радости принадлежать к культуре пампы исключительно в силу случая, носящего демографический характер.

– А, в конце концов, какая разница, к какой культуре ты принадлежишь, если ты создаешь свою собственную, как Андрес и многие, ему подобные? Тебя беспокоит, что ты не известен людям, собравшимся на Майской площади?

– Этим нужны химеры, – сказал репортер. – Они – здешние больше, чем мы с вами.

– Меня не волнуют эти люди, – сказал Хуан. – Меня беспокоят мои взаимоотношения с ними. Беспокоит, что какой-нибудь подонок именно потому, что он подонок, становится моим начальником в конторе, и вот он, заложив пальцы за жилет, говорит, что Пикассо следовало бы кастрировать. Меня бесит, когда какой-нибудь министр заявляет, что сюрреализм —

ах, зачем повторять все это,
зачем?

Меня бесит, что я не могу с ними ужиться, понимаешь?

Не-мо-гу-у-жить-ся. И вопрос тут вовсе не в интеллектуальном уровне Брака, не в Матиссе, не в двенадцати ладах, в генах или в архимедузе. Эта несовместимость у нас в коже и в крови. Я скажу тебе страшную вещь, репортер. Я тебе скажу, что каждый раз, когда я вижу эти прилизанные черные волосы, эти удлиненные глаза, эту смуглую кожу, когда слышу этот провинциальный говорок, —

– меня с души воротит.

Каждый раз, когда вижу представителя этой породы, эдакого портеньо, воротит с души. И от этих служащих – их ни с кем не спутаешь, они – продукт этого города, – с их парикмахерской прической, с их дерьмовой элегантностью, с их манерой насвистывать на улице – от них меня воротит с души.

– Ну что ж, понятно, – сказала Клара. – Вижу, ты и нас не обойдешь.

– Нет, – сказал Хуан. – Такие, как мы, вызывают у меня жалость.

Андрес слушал, сидя с закрытыми глазами. «Какое убожество, – думал он. – Только в страстях, только в элементарных вещах мы похожи на других. А там, где зарождаются отношения пары, где возникает сложная шкала ценностей, где образуются тонкие связи между человеком и окружающим его миром, где вспыхивают противостояния, там мы теряемся...»

Пух, отяжелев от влаги, срывался с мокрых листьев и па-

дал на гравий. Сапог полицейского прошагал рядом, едва не придавив его. Легкий ветерок приподнял его над землей, и он закрутился на своих тоненьких щупальцах-волоконках, прихватывая пылинки, крошечные частицы волокон, а потом струя воздуха подхватила пушинки и подняла вверх, к горящим фонарям. И пух летел от фонаря к фонарю, касаясь светящихся опаловых шаров. А потом силы у него иссякли, и он стал падать вниз.

Закрыв глаза, Андрес слушал разговор друзей. Репортер стал вспоминать стихи, которые Хуан написал давным-давно. Клара помнила их лучше и прочитала немного усталым тоном, но усталость, казалось, шла не от голоса, а была рождена словами. Стихи были несколько выпретенные и отражали его тогдашнее настроение, о чем Хуан как раз и говорил. «Можно блевануть в цинковый таз и в севрскую вазу», – с горечью подумал Андрес.

– Как элегантно, – сказал Хуан, нарушая затянувшееся молчание. – Совсем неплохо, но эти приливы, эти морские раковины...

– Очень красиво, – сказала Клара. – Чем дальше, тем все больше ты боишься слов.

– Это хорошо, что хоть кто-то их боится, – пробормотал Андрес. – Я с Хуаном заодно.

– Но мы рискуем прийти к обнищанию, если будем и дальше бояться чрезмерности в манере выражения. Если вы ду-

маете, что вернее сможете выразить суть, ограничивая себя в средствах выражения, то вы ошибаетесь.

– Может, прежде чем затевать столь жаркую дискуссию, договоримся о терминологии? – предложил репортер. – Средства выражения, например, и тому подобное.

Но Клара не желала терять время, ей нравились стихи Хуана, и она считала, что и приливы, и морские раковины – все на месте.

– Что ни говорите, мы отступаем, – настаивала она. – Наши деды обильно уснащали свое письмо цитатами, а теперь это считается вычурным. Однако цитаты спасают нас от того, чтобы выразить плохо то, что кому-то уже удалось выразить хорошо, и к тому же указывают направление, наши предпочтения, помогая понять того, кто их использует.

– *Cuoth the raven: Nevermore*⁴⁶, – сказал репортер. – Сорока тоже может произнести: *Panta Rhei*⁴⁷.

– И этим нас не возьмешь, – сказала Клара. – Боязнь использовать цитаты, отыскивать сопоставления с классикой и есть форма стремительного обнищания. И потому настаиваю: худшее из зол – боязнь слов, тенденция замкнуться в своего рода *basic Spanish*⁴⁸.

– Лучше уж *basic Spanish*, чем лексикон «Войны гаучо», – сказал репортер.

⁴⁶ Каркнул Ворон: «Никогда» (англ.).

⁴⁷ Все течет (греч.).

⁴⁸ Здесь: упрощенный испанский (англ.).

– Даром теряете время, – сказал Андрес как бы сквозь сон. – Опять эта дурацкая путаница целей и средств, формы и содержания. «Война гаучо» – блистательна, потому что она блистательно —

– простите мне великодушно это наречие —

осмыслена. О чем мудро замечено: скажи мне, как ты пишешь, и я скажу тебе, что ты пишешь. Блистательная манера приводит к блистательному качеству, старик.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.